
Виктор ЛАНОВЕНКО

ПОКУДА ХВАТИТ ДЫХАНИЯ

Повесть

1

У нас в гостиной висит отрывной календарь. В нем столько всего интересного, что мы листочки не отрываем, а подсовываем под резинку. Потом, когда год заканчивается, этот календарик остается цел целехонек. Там есть одна страничка как будто специально про меня. Так и написано: Е. Максимова. Только та Максимова родилась в 1893 году, комиссар, активный участник Гражданской войны, героически погибла при штурме Перекопа. Я тоже Е. Максимова, если точнее, Евгения Максимова. Но я родилась 22 июня 1925 года. Совсем скоро мне исполнится шестнадцать лет. И в тот же день будет выпускной бал. Вот такое счастливое совпадение. Ух, какое замечательное время начнется после школы! У меня прямо сердце обмирает, когда думаю об этом. Я ведь еще не жила по-настоящему. Хочу жить долго и счастливо. Тем более что папа говорит:

— Не бойтесь, девчонки, войны больше не будет. Хватит, навоевались в Гражданскую, в белофинскую.

А папа у нас товарищ подкованный, хотя и беспартийный.

Сегодня суббота, последний рабочий день.

Папа только-только вернулся с завода. Он у меня просто великан. Рост такой, что ему приходится наклонять голову, прежде чем войти в комнату, иначе треснет лбом о дверной косяк. Еще папа красавец, прямо куда там. Похож на артиста Григория Плужника из картины «Вратарь». Правда, папа выглядит постарше Плужника. Я этого «Вратаря» смотрела раз десять, наверное. В нашем железнодорожном клубе. И всегда думала, почему я не мужчина. Была бы парнем, точно вратарем стала.

— Привет, доча, — сказал папа и принялся стучать соском умывальника. Он у себя в цеху моется в душе, а потом еще дома надраивает руки с мылом и с содой. И все равно остается запах машинного масла, наверное, он насквозь пропитался этим маслом, и теперь хоть мой, хоть не мой, все без толку. — Чем ты занимаешься? — спросил он.

— Читаю Гофмана. На немецком.

— Зачем? — удивился папа.

Виктор Александрович Лановенко родился в Севастополе в 1945 году. По образованию — инженер-электрик. Работал на геотермальной электростанции на Камчатке. Печатался в журналах «Звезда», «Дальний Восток», «Роман-газета» и др. Две пьесы поставлены в театрах Петропавловска-Камчатского. Член Союза писателей России. В настоящее время проживает в Севастополе.

— Эльза Карловна велела, — я отложила книгу, чтобы немножко поболтать. — Летом мы поедем в Киев, на олимпиаду иностранных языков. Эльза Карловна уверена, что мне светит первое место. Представляешь, она говорит: Женька, у тебя баварский акцент, а Фридман такие штучки просто обожает.

— Фридман? — переспросил папа. — Что за птица?

— Не знаю. Кажется, председатель комиссии.

Папа вздохнул так, что абажур начал раскачиваться. Я подумала, ну все, сейчас понесет по кочкам Эльзу Карловну, Фридмана и меня заодно, я ведь знаю, как он относится к моим занятиям немецким, но в этот раз он сдержался. Только начал орать:

— Лида!... Ли-да!!

Мама в это время жарила котлеты на летней кухне, это аж в глубине двора. Но папа так орал, что мама влетела в комнату совершенно растерянная. Фартук на ней был перепачкан мукой, а на пальцах остались следы мясного фарша.

— Что случилось? — испуганно спросила она, переводя взгляд с меня на папу.

— Жрать хочу, — уже тихо произнес папа. Было видно, что он сам испугался, оттого что испугал маму.

— Фу-у, — мама сдулась, как проколотый воздушный шарик, опустилась на табуретку и свесила перепачканные руки между коленей. — Петя, — сказала она, — я тебя приблю.

— Лидочка, я, честно, есть хочу, как собака.

— Ага, — сказала мама, — нашел пожарную команду. Я, между прочим, сама недавно порог переступила.

— Что-что? — папа опять начал заводиться. — Интересно, где тебя нелегкая носила?

— В школе, Петенька. В шко-ле.

— В школе? — повторил папа. — А ты знаешь, сколько сейчас времени? — он поднял глаза на ходики. Но часы стояли, показывали половину второго. Я забыла подтянуть гирьку, хотя это моя обязанность. — Женька! — теперь папа орал уже на меня. — Почему время стоит?

— Петя, не накаляй обстановку, — сказала мама. — Я и так вся на нервах.

— С чего это вдруг? — удивился папа.

— А вот смотри. Выпускные экзамены на носу, а мои мальчишки совершенно забросили учебу. И, главное, на уроке Василь Василича разбирают винтовку Мосина с закрытыми глазами. А мою географию — ни в какую. Говорят — все равно война.

— Какая еще война? — насторожился папа.

— С Германией, — сказала мама. — С фашистами.

Наступила тишина. Я с опаской посмотрела на папу. У него на скулах начали ходить желваки, как будто он зубами перегрызал морской канат.

— Лида, — наконец произнес он, — я сильно удивляюсь на тебя. Вроде образованный человек, классный руководитель... Ты напомни своим оболтусам, что СССР и Германия подписали пакт о ненападении. Это тебе не халам-балам. Документ мирового значения!

— Да знают они, Петя, — сказала мама. — Нынешние дети такие разумные. Мне иногда кажется, что они мудрее нас.

— Разгильдяи и бездельники, — возразил папа. — Недавно ко мне в бригаду направили двух пацанов из «фазанки». Между прочим, второй разряд имеют. И знаешь, как работают? Берут молоток и зубило, два раза попадают по зубилу, три раза по пальцам... Короче так, скажи своим мудрецам: никакой войны не будет. Пусть вынимают книжки и учат географию.

— Твои бы слова да Богу в уши, — сказала мама. Потом она вытерла руки о фартук, подняла байковый халат, которым была укутана кастрюля, и сняла крышку. Запах

наваристого супа тут же расплылся по всей комнате. Я даже начала глотать слюнки, хотя недавно поужинала. Мама вынула из ящика здоровенный половник и налила полную тарелку, до краев. Струйки пара извивались и плыли вверх, под абажур. — Осторожно, — предупредила мама, — горячий.

Папа опустил на стул и принялся потирать ладони в предвкушении обеда.

— Если ты такой умный, — продолжала мама, — растолкуй мне вот что. Ты говоришь, фашисты не собираются с нами воевать. Тогда зачем прилетает их самолет?

— Какой самолет? Ты чего придумала?

— Точно, точно, — это уже я встряла. — Сегодня кружил над городом. Целый час, наверно. Сначала высоко-о-о. А потом ниже, ниже. Над бухтами, где корабли.

— Немец, что ли? Может, наш был?

— Нет, Петя, германский, — сказала мама. — Мои ребята тоже видели. Они глазастые и знают марки аэропланов не хуже военных летчиков. И, что обидно, летал совершенно безнаказанно. Наши — хоть бы хны. Как будто так надо.

Папа молчал целую вечность, перебирал в миске ломтики житного хлеба. Потом сказал:

— Наверное, там, — он потыкал указательным пальцем в потолок, — там договорились. Они у нас летают, мы — у них. А что? Доверяй, но проверяй, — он зачерпнул ложку супа и, вытянув губы трубочкой, с шумом втянул жидкость. — М-мм, супчик мировой. Цымес.

— Все свеженькое, — сказала мама. — Баранину купила у Джамиля. Еще теплая была. А петрушку, укроп — у тети Ленары... Эх, Петя, только-только начали жить по-людски, а тут — на тебе...

— Да не каркай ты! — перебил ее папа и облизал ложку. — Не будет никакой войны. Я обещаю.

— Ты что — Господь Бог? — удивилась мама.

— Товарищ Сталин сказал, я ему верю. И вообще, Лида, перестань раздувать эту пропаганду. Тоже мне, учительница. Какой пример ты подаешь нашей дочери?.. Кстати, — спохватился папа, — зачем она едет в Киев, на эту спартакиаду или олимпиаду по немецкой болтовне, чтоб ей грэц?

— Язва ты, Петька, — сказала мама. — Между прочим, Эльза Карловна уверяет, что у Жени врожденные способности к языкам. Абсолютный слух, как у музыканта. Она слышит, как звучит немецкое слово, запоминает интонацию целой фразы. Талант!

— Лида, ну, кому он нужен, этот немецкий язык? Лучше бы выучилась на крановщицу. Или на чертежницу. Пользы больше. И себе, и государству.

2

Часы на почте показывали без пятнадцати двенадцать. В это время наш десятый «б» сидел в душном классе, на консультации по математике. Ребята грызли науку. А мы, три бесшабашные девушки, Тося Каблукова, Ева Дейнеко и я, весело шагали по улице Карла Маркса. Направлялись в кинотеатр «Ударник», чтобы посмотреть новую картину с участием Валентины Серовой. Мы уже два раза смотрели «Девушку с характером» и теперь спешили на дневной сеанс, чтобы в третий раз насладиться обаянием любимой артистки. И еще нам хотелось пережить вместе с ней кусочек незнакомой жизни, какой у нас и в помине нет. У нас все такое невзрачное, обычное. Да еще жарюка эта.

Я даже не припомню, когда последний раз был дождик. Уже вся земля потрескалась. К десяти утра воздух так раскаляется, что видно, как он дрожит и медленно поднимается в небо. Когда я смотрю на тополя, высаженные вдоль железнодорожного перрона,

мне кажется, будто они извиваются от корней до макушек. Вчера опаздывала в школу и решила не садиться в трамвай, а рвануть напрямик, через горку. Я летела по степи, как пуля, а навстречу топали солдатики. По-моему, они возвращались в свою казарму с каких-то учений. Так вот меня поразил звук. Желтая трава под их сапогами хрустела, как толченое стекло.

Но самое противное — это пыль. Как только начнет дуть ветер с юго-востока — все, целыми днями летят и летят эти мутные тучи. Глаза режет, на зубах хрустит. Мы уже позакрываем наглухо все окна и форточки, но серый песок все равно набивается между рамами, ложится на подоконники, на листья маминого фикуса и на мраморных слоников, что стоят у нас на комодке.

Потом, глядишь, все успокоится. Хорошо у нас на слободке — здесь новая пыль ложиться на старую, ее и не видно. А в центре города дворники ни свет ни заря начинают сметать песок с трамвайных путей, расчищают площадки у входа в бакалею. Вот даже сейчас мы идем по центральной улице, а эти холмики собранной пыли возвышаются вдоль бордюров, начиная от площади Коммуны до Покровского собора, дожидаются, когда приедут грузовики и рабочие с лопатами.

— А это что такое? — спросила Тося и показала на фанерное табло, установленное на втором этаже почты. Цифры на пластинках складывались в число 34 и обозначали градусы по Цельсию. — Как на футболе, — добавила Тося, — счет три—четыре.

— Тридцать четыре градуса? — удивилась Ева. — Всего-то? А мне кажется, надо поменять цифры местами, сорок три будет точнее.

До начала сеанса оставалось больше часа. Мы выпили по стаканчику газировки с малиновым сиропом, купили мороженое и уселись на лавочку под акацией. Ева заговорила о будущем.

— Я уже все приготовила, — сказала она. — Рекомендацию из драматического кружка, характеристику из школы. Даже чемодан собрала. Все уложила: платя, зонтик, письменные принадлежности, тетя Мира даже конверты положила, чтобы я не забывала писать. Осталось получить аттестат зрелости и купить билет. И я там, в Москве, — Ева поднялась со скамейки и раскинула руки: — Всесоюзный государственный институт кинематографии распаивает передо мной двери.

— А если не поступишь? — спросила Тося.

Ева метнула на Каблукову короткий взгляд, вскинула голову и продекламировала:

Я рожден, чтоб целый мир был зритель
Торжества иль гибели моей...

— Нет, Евочка, гибели не надо, — спохватилась Тося. — Я просто так спросила. Ты поступишь, — Тося вынула из сумочки деревянный гребень и не спеша зачесала волосы назад, затем повернулась ко мне и спросила: — Женя, а ты куда?

— В Ленинградский педагогический. Имени Герцена, — ответила я.

— А что так? — удивилась Ева. — Ты же собиралась в спортивный институт Лесгафта? Женька, ты плаваешь, как дельфин. Всегда первая.

— Я тоже за тебя болею, — вставила Тося. — На соревнованиях ору, как сумасшедшая: Мак-си-мо-ва! Мак-си-мо-ва!

— Тише ты, — одернула я Каблукову. — Милиция заберет.

— Нет, честно, — сказала Ева, — ты можешь стать чемпионкой Советского Союза. Вот представь. Москва. Голубой бассейн. А вокруг зрителей видимо-невидимо. Пятьсот человек. Нет, не пятьсот, тысяча! Ты выходишь из воды вся блестящая, красивая и поднимаешься на пьедестал почета. А диктор объявляет громко-громко, даже на

Красной площади слышно: на дистанции сто метров кролем победила Евгения Максимова! Пловчиха из Севастополя установила новый рекорд! Ура, товарищи!

— Ура-а! — подхватила Каблукова.

— Девочки, да я не против. Только папа говорит: из двух бесполезных специальностей надо выбирать ту, что понадежней. На семейном совете решили — пединститут.

— А где будешь жить? — спросила Ева.

— На Васильевском острове, у тети Любы. Это мамина двоюродная сестра. Там недалеко. Институт на набережной Мойки, а я буду на Васильевском. Хотя, если честно, я бы хотела так устроиться, чтоб никакая тетя Люба не висела над душой.

— Представляю, — подхватила Ева. — Начнет тетушка контролировать каждый твой шаг. Как моя Мира.

— Ага, — согласилась я. — Возвращайся домой не позже девяти, с незнакомцами не разговаривай, а друзей для тебя выберу сама.

— Как же, выберут они, — скривила губки Ева. — Подсунут какого-нибудь индюка из своих знакомых, который только и знает, что распускать хвост.

— Ужас!

— Да ужас!

Заметила странную вещь. Вот я разговаривала с Евой и как будто жаловалась, что мне в Ленинграде предстоит мучиться и страдать от тети Любы-деспота. На самом деле у меня дух захватывает, когда начинаю думать, как я сяду в поезд, как поеду, обязательно на верхней полке, как выйду там, на вокзале, и окажусь в огромном городе, где столько людей, столько простора, свободы. В Ленинграде каждый день можно приходиться на новое место, и все равно не хватит целой жизни, чтобы все обойти. Не то что у нас. Мне скоро шестнадцать лет, а я уже знаю здесь каждый закоулок, каждый дом, что в центре, что на Корабелке, я уже не говорю про нашу слободку.

— Подруги, ну что вы все про свои институты, — сказала Тося. — Не надоело учиться? Я, например, не собираюсь никуда поступать.

— А что будешь делать? — спросила Ева.

— Замуж выйду. Нарожая детей. Это главное предназначение женщины.

— Ух ты! — удивилась я глубоким познаниям Тоси. — А жениха уже нашла?

— Найду. У нас тут военных как мух на рыбном базаре. Надо только придумать, как себя преподнести.

— А ты медом намажься, — предложила Ева. — Мухи точно сядут.

— Или кое-чем другим, — добавила я. — Тоже налетят будь здоров.

— Да идите вы! — беззлобно сказала Тося.

Мы с Евой давно съели мороженое, а Каблукова продолжала наслаждаться лоснящимся пломбиром. Толстым пальчиком она подбирала молочные ручейки на вафельном стакане и облизывала пальчик. Наконец она управилась, аккуратно промокнула губы платочком и сказала:

— Слушай, Женя, мне так нравится твой учитель по плаванию. Такой видный мужчина. Как он себя ведет?

— В каком смысле?

— Ну, о чем вы говорите? Какие у вас отношения?

Я поманила девочек ладонями и, когда они наклонились ко мне, тихо произнесла:

— Он меня лапал.

— Да ты что? — воскликнула Ева, брови ее подпрыгнули, а глаза чуть не выскочили из орбит.

А Тося подняла руки и шлепнула ладонями по своим массивным ляжкам:

— Я так и знала, — сказала она обреченно.

- Расскажи, расскажи, — заторопила меня Ева.
- Ну, он делал вид, что поправляет на мне купальник, а сам за грудь — цап, и за это место, — сказала я и похлопала себя по попе.
- Женя, может, тебе показалось? — с надеждой уточнила Тося. — Он же тренер, взрослый мужчина. Ну, поправил купальник, случайно зацепил за грудь. А ты уже давай фантазировать.
- Ага, случайно, Ты бы видела его глаза.
- А какие были глаза? — заинтересовалась Ева. — Ну-ка расскажи, расскажи.
- Жирные и противные, — сказала я. — Из них как будто слюни текли. А еще, девочки, иногда он подходил ко мне вроде как по делу. Подойдет и говорит: Максимова, когда плывешь, не закрепощайся, расслабь плечи. Потом берет мои руки в свои, прикасается ко мне всем телом и показывает движения: взмах, гребок, отдых. Взмах, гребок, отдых. Он показывает, а я чувствую, как он заводится. И точно знаю, что ему от меня нужно.
- Тебе было приятно, когда он прикасался? — спросила Ева. — Ну, давай отвечай. Я пожалала плечами и честно призналась:
- Сама не понимаю. Сердце обмирало, но было страшно. Я сразу прыгала в воду.
- Тося сидела, расставив колени и уперев кулаки в бока. Она поджала губы и рассказывалась вперед-назад, как будто не могла оправиться от изумления. И напоминала купчиху. Таких рисовали старые художники, изображая раскормленных девушек с голубыми глазами и алыми щечками. А Ева... Ева сидела прямо, надменно подняла голову и скосила в сторону глаза. Можно было подумать, что она смотрит в зеркало и контролирует свою позу и выражение лица. Ну, артистка же.
- Мы немного помолчали, потом Ева спросила:
- Женька, ты бы хотела устроить свою жизнь с ним?
- Ты что? — Каблукова подскочила со скамейки и принялась размахивать руками перед лицом Евы. — Ты разве не знаешь, — возмутилась она, — у Жени есть друг.
- Славка, что ли? — спросила Ева с пренебрежением. — Твой братец.
- Да, Слава Тарасов, — энергично произнесла Тося. — Мой двоюродный брат. И, между прочим, комсорг школы. Женя, — обратилась она ко мне, — вот скажи, Слава тебе друг?
- Друг, — подтвердила я. Но получилось довольно кисло. Тогда я встала, взяла подружек за руки и потащила за собой.
- Полетели, птицы. А то на журнал опоздаем.

После кино Каблукова пошла в библиотеку. У нее был такой план: если отец захочет дать ей ремня за прогул математики, она ответит, что занималась в читальном зале, пусть проверяет.

А мы с Евой решили обменяться фотографиями артистов и направились ко мне домой.

Я отдала ей Любовь Орлову и Кадочникова, а Ева скрепя сердце вручила мне Лидию Смирнову и Марину Ладынину. Протягивала открытки, а у самой руки дрожали. Жалко ей было расставаться со своими кумирами. Да еще спросила:

— Женька, ты кому из них больше завидуешь?

Я только плечами пожалала. Чего мне завидовать? Я в артистки не собираюсь. Это Ева спит и видит, как ее будут снимать в кино. Куда ни пойдешь, она везде строит из себя какой-нибудь персонаж. То она Патриция из фильма «Сто мужчин и одна девушка», которую играла Дина Дурбин, то ткачиха Таня из нашей картины «Светлый путь». Иногда просто неудобно перед людьми. Еще подумают, что я дружу с какой-то психичкой.

На самом деле у Евы очень достойная семья. Мамы у нее нет, а папа, Наум Евсеевич Дейнеко, работает директором на том заводе, что и мой папа. Только мой — обычный бригадир, а Евин папа — большой начальник. Их дом стоит рядышком с нашим, и заправляет там маленькая круглая еврейка, тетя Мира. Какая-то их родственница. По словам Евы, тетя Мира похожа на ленивую собачонку, которая высовывает голову из калитки и беззлобно лает на прохожих, чтобы показать хозяевам, что всегда начеку и честно отработывает кормежку.

Каждое утро ровно в семь часов за Наумом Евсеевичем приезжала машина. А вечером, когда уже темнело, эта же машина привозила его домой. Шофером у него был молодой мужчина по имени Жора, такой смешной, похожий на цыгана. Когда Наум Евсеевич уходил в дом, Жора не торопился уезжать, усаживался на капот и доставал папиросы. Долго крутил папироску в пальцах, разминал ее и посматривал по сторонам. Если кто-то оказывается рядом, Жора обязательно затевает разговор. Я слышала, как он говорил Еве такие слова:

— Принцесса, ты когда уже вырастешь?

— А что такое, дядя Жора?

— Да вот хочу жениться на тебе, — говорил он без тени улыбки. — Тогда буду возить не начальника, а любимого тестя, — потом Жора прикуривал, пускал струю дыма в темнеющее небо и уточнял: — Как у тебя насчет приданого?

— Слабовато, дядя Жора. Только половина царства.

— Ай-яй-яй, — качал головой Жора, — только половина? Ну, я не знаю. Подумаю еще.

А недавно Наум Евсеевич уехал в командировку, вторую неделю его нет. А без папы Еве приходится туго. Тетя Мира забрала всю власть себе, командует, как генерал. И денежки выдает по копеечкам.

Мы так увлеклись обменом открыток, что не заметили, как вошел папа. Он окликнул меня из гостиной:

— Женя, пойдй сюда.

Я не очень торопилась, продолжала раскладывать открытки в альбомчик, да еще мы с Евой выхватывали друг у друга конфетные фантики, толкались локтями и смеялись, как две дурочки. Но вдруг папа как рявкнул:

— Я кому сказал!

Мы с Евой вздрогнули и остолбенели. Я на цыпочках вышла к папе в гостиную. Он тут же затворил дверь в комнату, где осталась Ева, и буквально прижал меня к стенке.

— Ты кого привела в дом? — зашептал он с яростью.

— Папа, это же Ева Дейнеко, ты что, не узнал?

— Вот именно, что Ева Дейнеко, — сказал папа. — Чтобы этой жидовки я здесь никогда не видел. Даже имя запрещаю произносить.

Я ничего не понимала, стояла, мотала головой. На всякий случай спросила:

— Папа, что ты такое говоришь?

— Еще раз повторяю, — медленно произнес папа. — С сегодняшнего дня эту еврейскую шушеру на порог не пускать. И в школе обходи ее десятой дорогой. Ее отец троцкист. Враг народа.

— Ты ошибаешься, папа, — сказала я. — Наум Евсеевич уехал в командировку.

— Ну да, в бессрочную командировку, на Колыму. Об этом весь завод говорит. Вторую неделю.

Я хотела понять, что происходит, но в голове у меня все рассыпалось, никак не получалось поставить одно за другим, чтобы вышло нормальное, вразумительное объяс-

нение. Пустота и растерянность — вот что осталось внутри. И еще отрешенность. Я как будто все видела и слышала, но меня ничто не касалось. Мимо проплывало. Вот открылась дверь, из нее вышла серая девочка, похожая на Еву, девочка сказала:

— Я все слышала, — и ушла.

А я рухнула на диван, лицом в подушку, чтоб разрыдаться. Но не могла выдавить из себя ни слезинки, ни даже мышинового писка. Лежала, как бревно.

На следующий день Ева в школе не появилась. Я решила, что зайду к ней вечером, проведать. Но с каждым часом в моем сердце нарастал страх. Я не могла понять, чего именно боялась, то ли папиного запрета, то ли жуткого звания, которое присвоили Еве, — дочь врага народа, то ли предстоящего разговора с Евой, когда мне придется что-то ей объяснять, а я не смогу этого сделать искренне, буду вилить и жулить. Может, вообще не ходить?

А тут еще Славка Тарасов схватил меня за руку в школьном коридоре, затащил в пустой класс и давай ругать. Это, мол, ты, Максимова, уговорила подруг сбежать с математики, когда на носу выпускной экзамен.

Славка не на шутку разошелся, скрипел зубами и дубасил по столу кулаками, как будто бил в барабан.

— Ну, зараза, — сказал он, — ты у меня попляшешь. Я тебе выговор влеплю с занесением в учетную карточку.

Совсем спятил. Какая может быть карточка? Забыл, что я не комсомолка? Я, вообще-то, знаю, отчего он бесится. Он влюбился в меня еще в восьмом классе и с тех пор не дает проходу. Все время цепляется по пустякам, потому что не может сказать напрямую: Женька, я тебя люблю и не могу спокойно пройти мимо. Да он никогда такого не скажет, потому что ему надо выглядеть идейным, быть таким железным руководителем.

Я иногда спрашиваю себя: а как я отношусь к нему? Есть у меня хоть какое-то чувство? Необязательно любовь, а хоть что-нибудь? Уважение, например. Хотя уважение, может, это и не чувство, а как-то по-другому называется. Ну, неважно. Вот я прислушиваюсь к себе, приглядываюсь — и ничего, пусто. Наверное, я бесчувственная, как вон тот камень под ногами. Плюнь на него, измажь его грязью или топчи пятками, камню хоть бы хны.

Я бесчувственная мерзавка. И вдобавок — трусиха, боюсь к Еве идти.

Очень неприятно обнаружить в себе такие качества.

3

Завтра воскресенье, 22 июня 1941 года, мой день рождения. Девушке исполнится шестнадцать лет.

Мама затеялась испечь наш любимый наполеон. С раннего утра, еще до работы, замесила тесто, разделила его на семь пузатеньких шариков и поставила в погреб. А вечером, когда все собрались, выдала нам задание. Папа крутил на мясорубке мясо для котлет. Мне было поручено заниматься кремом. А сама мама взялась делать коржики. Скалкой раскатала тесто, да так тщательно, что оно превратилось в тоненькие листочки, которые просвечивались на свет. Смазала противень маслом и аккуратно уложила на него первый листик. Потом прижала тесто мягкими подушечками пальцев по всему периметру. И поставила противень в горячую духовку. Здесь надо точно знать, сколько выдерживать. Если вытащишь противень секундой раньше, коржик сырой, сразу можно выбрасывать. Секундой позже — сгорел. Но мама никогда не засекала время, а каким-то особенным нюхом чуяла, когда пора.

Ловким движением она выхватила противень из духовки и стряхнула горячий коржик на полотенце. И он лежал весь из себя румяный, душистый и хрупкий. Прикоснуться боязно. Потом, когда все коржики были готовы, мама сложила их один на другой и укрыла свежим полотенцем. По всем комнатам тянулся нежный запах выпечки.

А я готовила крем. Занятие это скучное. Сидишь и растираешь деревянной ложкой масло, пока оно не станет мягким, как густая сметана. Потом добавляешь рафинад, растолченный в ступке, ванилин и продолжаешь шаркать ложкой по краям миски до тех пор, пока разомнется последняя крупинка сахара и все это превратится в густую однородную массу.

Пирог получается дорогим, потому что сливочного масла на него идет много, аж пятьсот грамм, а оно недешевое, по двадцать пять рублей за кило.

— Папа, — сказала я, продолжая растирать крем, — а что вы мне подарите? Завтра.

— Вот завтра и узнаешь, — ответил папа. Он уже намолотил мяса и теперь лежал на диване, читал газету «Труд».

— Пап, ну хотя бы намекни.

— Сказать, что ли?

— Ни в коем случае! — спохватилась мама. — Только завтра. Потому что завтра у нашей доченьки тройной праздник.

— С чего это вдруг? — удивился папа.

— Такое счастливое совпадение, — сказала мама. — Во-первых, день рождения. Во-вторых, выпускной вечер в школе.

— А в-третьих? — поинтересовалась я.

— В-третьих... Воскресенье. Светлый день. Веселый.

— Ура! Значит, я получу подарки в тройном размере?

Папа сел и отложил газету.

— Лида, кого мы вырастили? — сказал он. — Настоящий стяжатель. М-да, придется раскошелиться.

Перед сном мама заставила меня почистить зубы порошком «Рекорд», сказала, что я уже взрослая девушка и с сегодняшнего дня и впредь, когда буду жить в Ленинграде, должна чистить зубы два раза, утром и вечером.

Коржи остыли. Я большой ложкой накладывала на них крем, а мама расправляла его столовым ножиком, чтобы слой был одинаковый. Пока она расправляла, я незаметно облизывала ложку. Нежный крем обволакивал горло, было так хорошо, что глаза сами собой закрывались от удовольствия.

— Не спи, — сказала мама. — Давай подкладывай.

Наконец мы управились. Теперь наполеон должен постоять часик-другой на столе. Пропитаться. К нему запрещается подходить близко. Да что подходить, дышать на него нельзя. Потом мама укроет пирог полотенцем, поверх полотенца ляжет разделочная доска. На доску — гнет. Обычно это кастрюлька с водой. И только затем папа осторожно приподнимет это сооружение и поставит его на шифоньер.

— Завтра с утра, — сказала мама, — сходишь к бабушке с дедом, заберешь сестру. А им напомним, чтобы явились в два часа. И ни минутой позже. А то, скажи, без них начнем.

В спальне я полностью открыла окно, занавешенное марлей, и легла в свою кровать. Засыпала как-то легко и плавно, как будто погружалась в теплое море. Под запах пирога и с ощущением наступающего счастья.

Проснулась я от того, что родители бегали по дому и хлопали дверями. И еще что-то гудело. Как будто в моей подушке завелся целый рой злющих пчел. Я приподняла

голову, но гул только усилился. Теперь он висел в моей комнате и шел от черных стен... В черной-черной комнате черные-черные стены издавали черный-черный гул... Вдруг где-то далеко застучали выстрелы, и эхо повторило их с другой стороны. А может, это было не эхо, а стучали другие выстрелы. Мама ворвалась в спальню и закрыла окно. И только теперь, посмотрев в окно, я увидела лучи прожекторов, которые металась по темному небу.

— Мама, что это? — спросила я и ощутила во рту горечь миндальных орешков. Такое у меня случается от предчувствия тревожных событий.

Но ответил мне папа.

— Наверное, опять учения, — сказал он неуверенно. В этот момент что-то бухнуло вдалеке. — Или провокация, — добавил папа.

— Нет, Петя, — сказала мама. — Это война. Я сердцем чувствую.

В эту ночь мы больше не ложились. Уже рассвело, взошло солнце. Было тихо, и мне даже казалось, что ничего страшного не случилось. Папа ходил по двору в трусах и в майке и о чем-то спорил со своим племянничком Виталиком. Этот Виталик живет в нашем дворе, в саманной развалюхе с женой Нонкой.

Около семи утра к нам зашла Тося Каблукова. В одной руке она тащила здоровенный бидон с молоком, в другой — сетку с пустыми банками.

— Почему-то у Дейнеко калитку не открывают, — пожаловалась она. — Я стучала, стучала. Жень, ты не в курсе, может, Ева заболела? Или уехала куда?

— Тоська, ты знаешь, что война началась? — спросила я.

— Так это не у нас. Это там, в Европе где-то, — успокоила меня Тося.

— Ты что, стрельбу ночью не слышала?

— Слышала. Ну и что с того? Сейчас все время стреляют. Учения. Вон в центре, говорят, на окна велели бумажки наклеить, чтоб стекла не вылетали. Ты молоко будешь брать?

— Давай, — сказала я, подставляя бидончик. — Наливай полный.

Молоко пахло, как вечерняя степь перед заходом солнца.

— Парное... — сказала я, втягивая носом теплый молочный дух.

— Жень, а ты почему козье не пьешь? — спросила Тося. — У вас же коза.

— Бя-аа...

— А я обожаю козье, — сказала Тося. — Очень полезное для кожи лица. Никакой крем не сравнится.

Потом к нам заглянул дядя Яша из семнадцатого дома и сказал папе:

— Сосед, слушай радио. В двенадцать часов будет заявление правительства. Сталин скажет свое слово.

— Откуда знаешь, Яша? — удивился папа.

— Сорока на хвосте принесла.

Мы включили приемник и стали ждать. Но там передавали только музыку. Мама послушала и заметила:

— Это Бородин, «Богатырская» симфония, — но вдруг мама всплеснула руками и выкрикнула: — Петя! Неси подарок. Совсем из головы вылетело.

Папа стукнул себя по лбу ладошкой, он, оказывается, тоже забыл, что у дочери день рождения.

Ах, какой это был подарок! Только мечтать можно. Маленькие женские часики «Заря» с тоненьким ремешком из желтой кожи. Я так обрадовалась, что всё вокруг, весь этот страх и тревожные ожидания, отодвинулось в сторону. Я сидела и любова-

лась часиками. То отставляла левую руку подальше и оценивала, как они смотрятся на моем запястье, то расстегивала ремешок и разбирала мелкие буковки на крышке, с обратной стороны.

Время ползло медленно, как улитка по дереву. Наконец по радио сказали, что сейчас будут передавать заявление советского правительства. У нас народу набилось — полная комната, заявились соседи и знакомые, у кого не было приемников. Я опустила глаза. Мои часики показывали двенадцать часов пятнадцать минут. Все вокруг зашикали друг на друга. И установилась тишина. Говорил Молотов.

Он сказал, что сегодня, в четыре часа утра, без предъявления претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нас. Что перешли границу и сбросили бомбы на Житомир, Киев и Севастополь.

Я стала потихонечку осматривать всех. Папа сидел рядом с приемником, положив руку на баламбушку, которая регулирует громкость. А мама стояла у него за спиной и зажимала свой рот двумя ладонями, словно боялась, что закричит от ужаса. Дядя Яша был похож на старого гуся, он вытянул шею вперед и пристально смотрел в светящееся окошко приемника, наверное, желал не только услышать, но и увидеть товарища Молотова.

А товарищ Молотов между тем сказал, что нападение совершено, несмотря на договор, заключенный между СССР и Германией. Поэтому правительство приказывает, чтобы наша армия и смелые соколы авиации нанесли сокрушительный удар по агрессору и выгнали этого агрессора с территории страны. И еще сказал, что надо теснее сплотить ряды вокруг великого вождя товарища Сталина. Тогда победа будет за нами.

Радио замолчало. И все, кто был в комнате, тоже молчали, боялись пошевелиться. Наконец дядя Яша произнес:

— А почему Молотов выступает? Сталин должен.

— Сталину сейчас некогда. Он думает, — сказал папа.

Когда соседи разошлись, мама принялась ходить по комнате туда-сюда, а потом спросила:

— Что теперь будет, Петя? Неужели впереди большая война?

Но папа ничего не ответил. Он сидел на стуле и как-то отрешенно, не мигая, смотрел прямо перед собой, на стенку, где висел коврик с вышитым лебедем, плывущим по озерной глади. По-моему, сейчас папа ничего не слышал. Сидел и тер ладонями собственные колени с таким остервенением, как будто колени были виноваты во всем и папа желал растереть их в порошок.

Мама снова заходила по комнате, подхватила на ходу стеклянную вазочку, что стояла на этажерке, и начала протирать ее тряпкой. Она ходила с этой вазочкой вперед и назад и терла ее, терла. Потом остановилась посередине комнаты и сказала решительно:

— Нет! Их остановят на границе. У нас самые лучшие танки, прекрасные самолеты. Красная армия всех сильнее. Правда, Петя?

Я тихонько выскользнула из комнаты. Мне очень хотелось пофорсить своими часиками. А тут как раз Славка Тарасов зашел.

— Привет, — кивнул он. — Я к тебе, поговорить надо.

— Говори, — я подняла левую руку и начала трогать подбородок пальцами, чтобы Славка обратил внимание на часики.

Но Славка даже не глянул на них. Серые глаза комсорга сияли от счастья, и весь он был взвинченный, воодушевленный.

— Ты слышала речь Вячеслава Михайловича Молотова?

— Ну.

— Наконец, — выкрикнул Славка и затряс кулачищами перед моим носом, — наконец не надо лицемерить, не надо говорить о дружбе и взаимной помощи. Ненавижу фашистов! Сволочи! Ну, подождите, мы вам покажем. Мы будем воевать на вашей территории, — Славка опустил руки и, повернувшись в сторону калитки, прошипел с угрозой: — Все. Я иду записываться добровольцем, — он помолчал немножко, потом снова повернулся ко мне: — Женя, ты со мной?

— Нет, Слава, — сказала я. — Мне в институт поступать надо. В Ленинград ехать.

— Женя, — уже тихо произнес Славка, — ты будешь меня ждать с войны?

— Конечно, буду.

— Пожелай мне что-нибудь, — попросил он.

«Вот тебе на, — подумала я, — чего придумал. Я, еще никого не провожала на войну, даже в армию не провожала, я еще маленькая девочка, мне сегодня исполнилось всего шестнадцать лет». Но вдруг я вспомнила песню и пропела ему:

Я желаю всей душой:
если смерти, то мгновенной,
если раны — небольшой.

Славка растрогался и сказал:

— Спасибо... Женя, поцелуй меня.

Я замаялась, но только на три секунды, решила, что нельзя отказывать в таком пустяке. Подставила лицо. Славка впился в меня своими губами да еще обхватил крепкими лапами так, что у меня ребра согнулись, как пружины. Я вытерпела — человек же на войну идет. Наконец он отпрянул, сверкнул на прощание глазами и выбежал со двора. А я стояла и вытирала губы рукавом блузки.

Потом глянула на часики, поднесла их к уху и стала слушать, как они тикают.

Проклятые фашисты. Весь праздник мне испортили.

4

Что у нас новенького?

Ну, в последние дни заметно увеличилось число военных, что очень хорошо, будет кому защищать Севастополь. Папа говорит, это подошла 51-я армия, которая сражалась в Одессе.

Почти каждый день случаются налеты немецкой авиации. Начали ходить слухи, будто в городе появились немецкие шпионы. Они узнают, где расположены наши пушки и самолеты, и направляют туда вражеские бомбардировщики. Я даже слышала разговор, что немцы разбомбили все наши аэродромы и уничтожили самолеты, какие на них были. Но думаю, люди врут, потому что я вижу собственными глазами, как наши маленькие «ястребки» встречают немецкие «юнкерсы» и «хенкели». Иногда даже сбивают. Вот такие у нас перемены.

Да, у меня тоже кое-что изменилось. Папа устроил меня на завод, в корпусный цех, учеником. Теперь я — резчик по металлу. Уже освоила газовую горелку, и меня допускают к самостоятельной работе.

И еще. Папа перестал ругать врага народа троцкиста Наума Евсеевича Дейнеко, говорит, что без Дейнеко дела на заводе идут из рук вон плохо. А новый директор — назначенец и салага. Знаний у него ноль. Единственное, что умеет — брать на горло.

Теперь даже Еве позволено приходиться в наш дом. Она, правда, не приходит из-за гордости и обиды на папу. На меня Ева тоже обижалась, но мы с ней хорошо поговорили и, как утверждает мама, расставили все точки над «i».

Евина тетя Мира по-прежнему общается с нами как добрая соседка. Вот вчера, например, целый день стояла тишина. Можно было подумать, что никакой войны нет и в помине. Или она гремит где-то далеко. До нас никогда не доберется.

Я только вернулась с работы, и мы с мамой принялись собирать остатки винограда. Тут открылась калитка, и вошла тетя Мира. Она была похожа на большой колобок. Руки упирались в бока, а голос лился из самого желудка.

— Лида, — сказала тетя Мира, обращаясь к маме, — ви каждый божий день сохнете белье впереди моего окна. Я не вижу соничного света от середины обеда до баритона товарища Левитана, когда он рассказывает за нашу линию фронта.

Мама, конечно, возмутилась, но очень интеллигентно:

— Ой, Мирочка, — сказала она, — вам бы только заглядывать в чужой двор с утра до вечера.

На что тетя Мира резонно ответила:

— Я вас умоляю. Шо там смотреть у том дворе? Как ваши курочки какают на огороде?

А, вот еще что. В наш дом переехали жить мамины родители. Раньше дедушка Гриша и бабушка Вера жили на Петровой слободке, в Перекомском переулке. Мне тот дом страшно нравился. Он располагался высоко-высоко, как будто специально убежал от дороги вдаль и вверх, чтобы отделиться от внешнего мира и жить своей обособленной жизнью. Мне кажется, этот дом начинался с того, что давным-давно какие-нибудь сарматы вырубали в неприступной скале три комнаты, которые сообщались одна с другой. Потом вытесали четвертую, но такую низкую, что туда можно забраться только на четвереньках. Для чего служило то помещение, я не знаю. Возможно, у древних в этом месте была кладовка. Или держали овец. Здесь голов десять поместятся. Потом, спустя века, к неприступной скале потихонечку насыпали земли, расширили площадку, сняли кусок вертикальной скалы и построили на площадке современный дом с черепичной крышей. Хотя какой он современный? Ему лет сто. А может, и больше.

Раньше к дому поднималась извилистая тропинка. По обе стороны от тропинки возвышались стебли чертополоха толщиной с мою руку, а внизу стелились огромные лопухи. Когда я была маленькая и шла в гости к деду с бабушкой, я любила поискать в лопухах что-нибудь интересенькое. И обязательно находила. То тряпичную куколку, то мячик, которым играют в теннис. Однажды нашла букварь, а мне как раз предстояло идти в школу. И только потом бабушка рассказала, что дед всегда готовился к моему приходу и прятал подарочки в лопухах.

В самом начале войны немцы сбросили бомбу на огромный резервуар, который стоял внизу напротив дома. Наверное, фашисты подумали, что там бензин, а там была вода, вся Петрова слободка пила оттуда. От этого взрыва земляной наст сполз. Там, где виляла тропинка, теперь поднимается голая вертикальная скала. Часть дома обвалилась. Если сегодня задрать голову и посмотреть вверх, то можно увидеть оставшуюся половину комнаты, кусок стены, выкрашенный в розовый цвет, и желтый абажур, свисающий с потолка. И еще дедушкин диван. Диван за что-то зацепился и торчит над пропастью, не падает. Хорошо, что во время той бомбежки дед с бабушкой отсиживались в сарматских комнатах. Тогда они отделались испугом. Но жить переехали к нам, на Кондукторскую. Я забиралась в этот дом три или четыре раза, надо было найти кое-какие вещи: то ватное одеяло, то серебряные вилки из бабушкиного сервиза. Приходилось лезть, как альпинистке, цепляться за скальные выступы, потом перебираться влево на сохранившийся грунт и ползти на пузе по выступающим камням. Страшновато было. Если бы сорвалась, лететь мне оттуда, как с десятиметровой вышки, только внизу не Черное море расстилалось, а торчали здоровенные камни.

А вечером мы сидели в нашей гостиной за столом. Плотно занавесили окна и стали играть в подкидного дурачка. Я в паре с мамой, а папа с Нонкой. Виталик на диване тихонечко играл на гитаре, а сестра моя Надька уже почти засыпала, положив голову на плечо Виталика. И тут мама сказала:

- Пора уезжать подальше от этой войны.
- Куда ты поедешь, Лида? — спросила Нонка.
- Подумать надо, — сказала мама. — Можно к тете Вале, в Кызыл.
- Еще чего, — возмутился папа. — Бросить все добро, что нажили, и тью-тью? Не-ет.

Никуда мы не поедем. Да вы не бойтесь. Город не сдадут.

Мама только головой покачала, а Виталик запел: «Прощай, любимый город...»

Я подкидывала папе восьмерки, у меня их целых три штуки с козырной, подкидывала, а сама думала: почему нас, тех, кто живет на окраине города, называют жлобами?

Да, мы бываем вредными, мы бережливы, мы не сорим деньгами, каждая копейка у нас на счету. Еще мы не любим давать в долг и сами не просим. Зато мы никогда не оставим человека в беде, будь то наш родич, или друг, или просто сосед. На нас можно положиться. Когда у нас праздник, в наш дом приходят люди, чтобы разделить нашу радость. А когда у человека беда, он тоже идет к нам, потому что знает, мы поможем, если это в наших силах. Если помощь окажется за пределами наших возможностей, мы разделим чужую беду, и человеку станет легче жить.

Даже когда легла спать, я продолжала думать об этом.

Что и говорить, Зеленая горка — действительно окраина. Отсюда мы с завистью смотрим на город, на высокие дома, трех- и четырехэтажные, которые белеют вдалеке за Южной бухтой. А вот наши хатки как будто случайно примостились на северо-западном склоне. Улицы здесь напоминают террасы, вырубленные одна выше другой. Дворы прилипают боками друг к дружке. Возле калиток навалены горы прошлогоднего шлака, а земля, влажная от помоев, обильно зарастает бурьяном.

Но сейчас центру не позавидуешь, война постепенно превращает его в груды развалин.

Так я и заснула, с этими мыслями.

А потом наступило раннее октябрьское утро. Воздух был чистый и прохладный, но днем наверняка земля прогреется, и сделается тепло, даже жарко, ведь у нас до сих пор стоит бабье лето.

На зенитной батарее, которая расположилась на склоне Исторического бульвара, чуть ниже Панорамы, бойцы забыли зачехлить стекла прожекторов, и первые лучи солнца вспыхивали в зеркалах и отражали к нам ослепительный свет.

Все это я знала на память. Но сейчас ничего из перечисленного не видела, потому что спала сладким сном. Я даже не слышала, как тишину нашей слободки нарушил короткий заводской гудок. Потом второй. Третий. С недавних пор гудки на морзаводе стали давать коротко, чтоб их не путали с воздушной тревогой.

В нашу детскую спальню вошла мама и принялась тормошить меня за плечо:

— Эй, соня, поднимайся, — произнесла она тихонько, чтоб не разбудить Надьку. — Вставай, доченька, уже половина восьмого.

Я села в кровати и безумными глазами уставилась на ходики. Гирька на цепочке опустилась почти до пола, но маятник щелкал настырно, как будто откусывал одну секунду за другой от огромного каравая времени.

— Мама, часы спешат? — с надеждой спросила я.

— Что ты, доченька. По нашему хронометру можно сверять кремлевские куранты, — сказала мама.

Меня охватило смятение — я опаздывала на работу. А это страшно. Недавно вышел сталинский указ о переходе на семидневную рабочую неделю. За опоздания можно загреметь под статью. Я выскочила во двор, промчалась мимо флигеля, где жили мамы родители — бабушка и дед Гриша, и обогнула палисадник и саманную развалюху, в которой ютились Нонка со своим мужем. Добралась до деревянной уборной, дернула дверь — заперто.

— Эй, кто там? Пустите, я опаздываю! — крикнула я, переминаясь с ноги на ногу.

— Надо ложиться вовремя, — посоветовал из уборной Виталик. — И меньше за картами просиживать.

У Виталика красивый голос, как у певца Бейбутова, особенно по утрам, когда он выкуривает папироску «Север», устроившись в уборной.

Я забралась в палисадник и присела под кустом крыжовника. В это время открылась дверь флигеля, и в проеме возник дедушка Гриша. Он протяжно зевнул, но вдруг заметил меня, медленно развернулся и крикнул в дом:

— Вера, ты тока подумай, эта подлюка гадит у моем палисаднике.

Спустя пять минут я выскочила за порог дома, лягнула пяткой калитку и помчалась по улице. За свалкой начинался спуск. Тропинка круто падала вниз, виляла вдоль забора камнедробилки, пересекала дубовую рощу и выводила на площадь, к остановке трамвая.

Я не успела застегнуть ремешок на левой туфельке, и теперь приходилось бежать, укорачивая шаг. В одной руке я держала соломенную кошелку, в другой кусок французской булки. На ходу пыталась застегнуть блузку. С верхних улиц скатывались растрепанные мужчины в промасленных спецовках. Тяжелые ботинки ухали по тропе, выбивая белую пыль. Вот мимо пронесся татарин Юсуф:

— Женька, приходи вечером на танцы! — успел крикнуть он.

Я подняла голову. Далеко на противоположном холме, за Южной бухтой, катится по спуску трамвай. Если хорошенько поднажать, то можно успеть на этот трамвай. Я скинула туфли, засунула их в кошелку, туда же швырнула кусок французской булки и бросилась вниз. Ветер свистел в ушах. Если бы у меня были крылья, я бы сейчас взлетела. Но и без крыльев я мчалась, как птица страус. Пятки мелькали в воздухе, едва касаясь земли. Ноги как будто выстреливали и бросали мое тело вперед. Я обогнала Юсуфа и спустя мгновение влетала на трамвайную остановку.

И все-таки я опоздала. На целых шестнадцать минут. Наша табельщица Марина Сергеевна уже настрочила докладную и отправила куда следует. Мне светили крупные неприятности. Пока я переодевалась в брезентовую робу, пока добиралась на рабочее место, прошло еще полчаса. Настроение у меня было хуже некуда. Я разожгла горелку и начала вырезать поврежденную обшивку на рубке тральщика. Вокруг расползлся едкий запах карбида. Мама говорит, что у меня все волосы пропитались этой гадостью. А мне ничего, нравится. И вообще, работа что надо. За ней все плохое забывается. Надену черные очки и ничего не вижу вокруг, только огонек на кончике горелки и оплавленную дорожку металла. Да еще кислый запах карбида и шипение горелки. Вот и все, с чем я имею дело целую смену.

Только я ушла с головой в работу и стала забывать о своих неприятностях, как завывли сирены. Воздушная тревога! Я сняла черные очки и увидела, как две малярши и слесарь, что работали внутри корабля, сбегают по деревянным сходням на берег. Я тут же выключила горелку и уже хотела побежать следом, но вспомнила наказ мастера — беречь шланги. Пока я сворачивала шланги в бухту, пока взваливала их на плечо, раздался гул бомбардировщиков. Я осторожно спустилась по шатким сходням и на-

правились в сторону литейного цеха, где находилось бомбоубежище. Попыталась бежать, но колени у меня подгибались. А в животе что-то начало дергаться и дрожать. Может, это моя душа металась от страха, норвила выскочить из тела и забиться в любую щель. Гул самолетов нарастал, заставлял прижиматься к земле. Мне бы сейчас кинуть шланги на землю и рвануть со всех ног, но страх перед начальством заставлял упираться и тащить дальше эти проклятые шланги.

Вскоре затарахтели зенитки. Начали бухать пушки на борту крейсера «Червона Украина», что стоял напротив завода, рядом с Графской пристанью. А когда падали бомбы, мне казалось, что земной шар разлетается на куски. Взрывные волны докатывались до меня, толкали в стороны. Мои ноги заплетались, но я продолжала топтать в сторону бомбоубежища. Шаг за шагом. Потом не выдержала, залезла в какую-то яму, наверное в воронку, свернулась калачиком и накрыла голову кольцами шланга. Крепко сомкнула веки, аж виски начало ломить. Лежала и слушала всем телом, как подо мной подпрыгивает земля. Вдруг так бабахнуло, что я оглохла.

А когда разлепила глаза и высунула голову из воронки, то увидела облако желтой пыли. Я хотела разглядеть стены литейного цеха, но они куда-то исчезли. Из земли торчала разрушенная плавильная печь, а железные чушки были сметены, как мусор, в проем между бетонными опорами.

Я обернулась. Над центром города до самого неба поднималась сизая гарь.

5

У нас в семье еще никто не умирал. Хотя нет, конечно, умирали, я хотела сказать, что на моей памяти такого не случалось. И от немецких бомб, как говорит бабушка, Бог нас тоже миловал. А тут как раз после ноябрьских праздников дедушка Гриша взял и помер. Дедушка Гриша — это мамин папа. Если честно, он меня немножко недолюбливал, всегда как-то неприятно отзывался обо мне, как будто я конченный человек. В комсомол меня, дескать, не приняли, никакой общественной работы не веду, а значит, не принимаю участия в строительстве социализма. Еще он говорил, что я иждивенка и трутень. Ну, какой я трутень, если женского рода. И уже целый месяц работаю в папином цеху — ученик сварщика, специализируюсь на газовой резке металла.

Я, конечно, расстроилась, когда дедушка умер, но не оттого, что деда не стало, а из-за маминых слез. Она все время плачет и плачет. Я даже не догадывалась, что дедушка Гриша так дорог для нее.

Сегодня похороны. Мне разрешили целый день не выходить на работу, а папу отпустили только до обеда, и он начал всех подгонять, чтобы к часу успеть на завод. Каждому члену семьи он придумал занятие и даже произнес напутствие:

— Значит так, — сказал папа, — не рассусоливайте тут, а работайте, как Стаханов. Не ровен час, налетят фрицы и не дадут по-человечески проститься с нашим дорогим Григорием Лукичом.

Мне он ничего не задал, и я пошла за ним и за Виталиком в комнату, где лежал дедушка.

Мужчины выпили по стаканчику водки и начали укладывать дедушку Гришу в гроб, который Виталик называл домовиной.

— Вот смотри, Петя, — сказал Виталик, обращаясь к папе, — вроде уважаемый человек, а красной материи выдали мало. Только на крышку досталось, и все. — Виталик подхватил дедушку подмышки и постарался приподнять. — Ух ты, тяжелый, — удивился Виталик.

— Держи крепче, — посоветовал папа, берясь за дедушкины ноги, — поднимать будем на счет «три». Раз, два, три!

Они сорвали дедушку с кровати и начали подтаскивать его к домовине, установленной на двух табуретках. У Виталика на шее надулись жилы, а рот съехал набок.

— Выскальзывает, — просипел Виталик. Лицо его покраснело и стало раздуваться, как мячик, который накачивают велосипедным насосом.

— Держать! — приказал папа.

Кое-как они определили дедушку Гришу в его последнее пристанище. Папа налил еще по полстакана водки, они выпили и вытерли губы ладонями. Папа расправил дедушкины ноги и сказал:

— Хорошие ботинки. В них еще ходить и ходить.

— Ага. И размер как раз твой, — вставил Виталик.

— Ладно, не подначивай, — отмахнулся папа. Потом обернулся ко мне и сказал: — Женя, зови всех, пусть прощаются здесь, а то на улице сыро.

Народу собралось видимо-невидимо. Я даже подумала: ну, кто он такой, дедушка Гриша? Обыкновенный фельдшер железнодорожной поликлиники. Но оказывается, это важная профессия, и деда знает вся округа.

Первыми вошли мама и бабушка. Обе заплаканные, в черных косынках. Следом за ними маленькими шажками просеменил толстый доктор Скуляри Михал Михальч, дедушкин коллега. Он еще молодой, с черными кудрями и в пенсне на греческом носу. За ним начали вваливаться соседи. Эти шли без всякого порядка. Их уже набилась полная комната, а сзади поджимали другие. И тут я почувствовала, как из живота к горлу у меня поднимаются все внутренности. В комнате висел сладковатый запах тления, и сейчас он стал просто невыносимым. Я поняла, если сию минуту не окажусь на свежем воздухе, меня вырвет прямо здесь, при всех. Я с трудом протиснулась между людьми и выскочила во двор.

Здесь тоже было полно народу. Кроме соседей, которых я хорошо знала, появилось много незнакомых товарищей. Среди них я сразу выделила двоих — красивую женщину в длинном макинтоше из кремовой чесучи и солидного дядечку в военной форме. Я сначала подумала, что это генерал, но потом оказалось, что он большой железнодорожный начальник. Все-таки странно, подумала я, что простого фельдшера, дедушку Гришу, знает столько важных персон.

В летней кухне суетились старушки. Командовала ими наша Нонка. Она указывала старушкам, сколько сахара нужно сыпать в узвар и в каком казане следует варить кутью.

Я вышла на улицу и уселась на скамейку под старым дубом. Желтые листья покрывали мокрую землю. Я подняла несколько желудей, которые валялись под ногами, и принялась их грызть. Терпкая сердцевина желудей вязала мой язык, и я подумала, что теперь точно напоминаю свинью. Не только своим отношением к дедушке Грише, но и выбором еды.

Вдали, за Южной бухтой, виднелся город. Сейчас там висела какая-то серая пелена. То ли это был дым, то ли пыль, отсюда не разобрать. Мой одноклассник Димка говорил, там все время тлеют развалины. Он ходил туда с отцом собирать чужое добро. Притащили два мешка. Димка потом хвастался, показывал фарфоровые тарелки. Красивые, почти целые. Эмалированный чайник с нарисованным журавлем. А еще показал лаковые туфли на каблуках. Вот бы мне такие. И книжки. Книжки, правда, обгорели по краям, но читать можно. Я выбрала Максима Горького «Жизнь Клима Самгина», читаю, когда война закончится, сейчас совсем не хочется читать. Еще Димка хотел подарить мне золотую цепочку с маленьким медальоном в виде сердечка. Он распотрошил эту штуку в куче пепла и не стал показывать отцу. Для меня приберег. Внутри сердечка фотография маленькой девочки. Такая смешная малышка, губы бантиком, а волосы завитушками.

— Это тебе, — сказал Димка и протянул медальон.

А я руки за спину спрятала, не смогла взять. Даже прикоснуться боялась.

Вскоре послышались скрип телеги и хлопанье копыт по уличной грязюке. Это дядя Яша из семнадцатого дома подгонял свой катафалк к нашей калитке. Вышел папа и сказал, что на кладбище пойдут только близкие.

— Время, сами знаете какое, — грустно произнес он. — Но вечером, после работы, приглашаю всех помянуть нашего дорогого Григория Лукича.

Мне не очень хотелось идти на кладбище, но мама велела, чтобы я присматривала за Надькой, а та увязалась за бабушкой. Пришлось и мне топать с ними.

Наша немногочисленная процессия двинулась в конец Кондукторской улицы. Потом мы повернули налево и стали подниматься на вершину Зеленой горки. Мокрая глина липла на колеса телеги, они стали толстыми, как шины у полуторки. Конь упирался изо всех сил, но все равно еле тащил телегу, на которой лежал дедушка Гриша. Мы уже миновали улицу Мастерскую и улицу Кузнечную, уже перешли дорогу, наземную в степи, и тут увидели зенитную батарею. Когда ее успели поставить, даже не знаю. Позавчера я была здесь, никакой батареи не видела. Три орудия расположили в степном приямке. Сверху укрыли маскировочной сеткой. Не знаю, поможет ли эта сетка спрятаться. Если смотреть с неба, тогда, наверное, не видно, а так эта батарея — вот она, прямо перед носом. Нам даже пришлось на кочки сунуться, чтобы объехать зенитки.

Возле орудий стояла телега, похожая на нашу. Только та была доверху нагружена какими-то ящиками. Батарейный конь, такой рыжий откормленный красавец, гулял рядышком, щипал себе колючки и последние листья с низких кустов ежевики. Когда мы объезжали батарею, молодой солдатик поднялся на ноги и снял пилотку. Он был совсем молоденький, подстриженный под ноль. Его розовые щеки светились под холодным ноябрьским солнцем, а глаза были грустными, как будто он сочувствовал нашему горю. Но когда я увидела белый платочек, засунутый под ремень, опоясывающий его шинельку, то едва не прыснула со смеху. Тоже мне, маменькин сыночек. Хорошо, что сдержалась.

Через пару минут наша процессия оказалась на маленьком кладбище. Здесь хоронили только наших, слободских. Обычные могильные холмики, деревянные кресты, пирамидки со звездами, а то и просто большущие камни, стесанные с одной стороны, чтобы там нацарапать фамилию и даты.

Гроб сняли с телеги и поставили на две табуретки, которые сразу осели и погрузились ножками в сырую глину. Дедушка Гриша лежал, обратив лицо к небу. А мы стояли, понурившись, и смотрели в землю. Я даже немного разозлилась: мы тут стараемся для него, месим грязь, вон у бабушки горло перехватило, она слова не может вымолвить, мама уже опухла от слез, а деду хоть бы хны.

Хотя что я такое несу? Вот дура!

— Михал Михалыч, — обратился папа к доктору Скуляри, — скажите слово.

Доктор откашлялся, поправил пенсне и начал говорить. Он что-то бубнил себе под нос, рассказывал, какой дедушка Гриша был хороший товарищ и какой замечательный специалист.

Я не очень-то прислушивалась, смотрела в сторону города и думала вот о чем. Как здорово, что мы живем здесь, на Зеленой горке. Ведь город бомбят, там торчат остовы домов, черные от огня, от дыма. Там, куда ни глянь, всюду груды камней, среди которых тлеют деревянные балки, топорщатся спинки железных кроватей. Где еще недавно проходила дорога, к небу завернуты трамвайные рельсы.

Надо же, город сильно пострадал, а здесь, на слободке, все осталось по-прежнему. Как до войны. Если смотреть с Исторического бульвара, наш дом легко отыскать гла-

зами, потому что он отличается от других необычным фасадом. Да еще деревянные ворота выкрашены в отвратительный цвет. Это папа перед самой войной раздобыл корабельный сурик. Я думаю, стырил на заводе. Чтобы никто не догадался, развел его сажей из нашей печки.

Справа и слева от ворот томятся две пузатые колонны. Почему томятся? Дело в том, что сверху на каждой колонне лежит артиллерийское ядро времен Крымской войны, тяжелое-претяжелое. Когда я была маленькой, мне казалось, что эти колонны тихонечко стонут. Я прикладывала ухо и слушала их жалобы.

Я так погрузилась в свои думы, что даже вздрогнула, когда услышала надсадный крик.

— Воздух! Воздух! — голос доносился со стороны зенитной батареи. Там сразу начали бегать бойцы и заряжать свои пушки.

Доктор Скуляри прервал длинную речь и уставился на папу, как будто не знал, что ему теперь делать, и ждал указания.

— Спокойно, — сказал папа, всматриваясь в сторону Петровой горки, из-за которой уже доносился отдаленный гул. С каждым мгновением этот гул нарастал, набирал такую силу, что все живое невольно стало припадать к земле. Моя голова тоже начала вытягиваться в плечи, как будто желала спрятаться.

— Вот сволочи, — сказала мама, бросая короткие взгляды то на гроб, то на небо, где пока ничего не было, кроме холодной синевы и блестящего солнца. Мама обняла бабушку и крепко прижала к себе.

Показались первые самолеты. Это были «Юнкерсы-88».

— Они нас не тронут, — произнес папа, но как-то не очень уверенно.

Он стал крутить головой налево и направо, наверное, высматривал место, куда можно спрятаться. Но везде была только степь.

Завыли сирены воздушной тревоги. Их звук доносился с Корабельной стороны и поднимался от железнодорожного вокзала. И от этого воя и самолетного гула у меня внутри все кишки начали рваться в клочья. Я не помню, как оказалась на земле. Только смотрела и удивлялась. Оказывается, я стояла на четвереньках и упиралась коленями и ладонями в жидкую глину. И еще мне хотелось распластаться на этой глине и даже зарыться в нее, чтобы не было видно.

Гул моторов уже висел над нашими головами. Застучали частые выстрелы. А я продолжала стоять на карачках, согнувшись в три погибели. Но потом как-то извернулась и посмотрела вверх. «Юнкерсы» проходили над нами, они двигались в сторону города. А на синем небе как будто волшебник разбрызгивал кисточкой серые кляксы. Это разрывались снаряды наших зениток.

Наверное, немцы заметили батарею, что была рядом с кладбищем, и решили ее уничтожить.

Бомба разорвалась совсем близко. Какая-то сила швырнула меня в сторону. С визгом пролетели то ли осколки, то ли камни. Кто-то упал рядом. Еще кто-то начал орать не останавливаясь, и этот крик казался глухим, как будто человека замуровали в стену. Потом до меня дошло, что заложило уши. Но даже сквозь глухоту я услышала голос папы.

— В яму! — кричал папа. — Все в яму!

Чьи-то руки подхватили меня и бросили в дедушкину могилу.

Не знаю, сколько мы просидели в той яме. Мне кажется, я ничего не видела, не слышала, не чувствовала. Было темно и тихо. А потом вдруг раздался голос сестры.

— Женя, — сказала Надька тоненьким голоском, — посмотрите, я грибок нашла.

Я открыла глаза. Перед моим носом медленно покачивалась сыроежка, зажата в кулачке сестры.

Я подняла голову и увидела папу. Он стоял вверху, на краю могилы, и тащил бабушку за руки, а Виталик с доктором Скуляри толклись на дне ямы, утопая по щиколотку в серой известковой жиже, и подсаживали бабушку под зад.

Когда мы выбрались из могилы и посмотрели друг на друга, то начали улыбаться, потому что были похожи на чушек, которые от всей души извалялись в грязи. И еще было радостно оттого, что налет фашистов закончился, а мы остались живыми. Даже мама прыснула и тут же прикрыла рот ладонью, измазанной в глине.

Только дедушка Гриша оставался безучастным, лежал себе в домовине, укрытый по пояс белой скатертью и в тужурке, застегнутой на все пуговицы. Его лицо, и скатерть, и тужурка были присыпаны землей. Мама сняла черный платок со своей головы и принялась стряхивать землю с лица дедушки Гриши.

— Все равно ты самый чистый из нас, — сказала мама мертвому дедушке.

— Конечно, — подтвердила бабушка. — Господь уже отпустил грехи. Теперь можно в рай.

Мы с Надей стояли в сторонке и смотрели, как ловко работают лопатами папа и Виталик. Холмик над дедушкой Гришей получился небольшой и аккуратный. Мама положила сверху венки, сплетенный из веток туи, а папа воткнул фанерку на палочке, где было написано: «Афанасьев Григорий Лукич, 10.11.41 г.».

— Надо памятник сделать поскорее, — сказала бабушка. Она принялась вынимать из кошелки хлеб, бутылку с выпивкой, тарелку с жареной барабулькой и выставлять все на табуретки, где только что покоилась домовина с дедушкой Гришей.

— Я уже заказал своим мужикам из деревоцеха, — сказал папа и разлил водку по стаканам.

— Деревянный, что ли? — спросила мама.

— Пока деревянный. С металлом сейчас туго, — папа поднял стакан и, повернувшись в сторону свежей могилы, сказал: — Пусть земля тебе будет пухом, Григорий Лукич.

Все выпили и взяли по кусочку хлеба. Мы с Надькой тоже взяли хлеба и рыбки.

— Что будем делать сверху, на памятник? — спросил папа. — Звезду? Или шпиль, как на елку?

— Может быть, крестик? — подсказала мама.

— Какой еще крестик! — возмутился папа. — Твой отец был членом вэкэпэбэ. Настоящий коммунист.

— Это когда живой был, — сказала бабушка. — А там, — она указала пальцем на небо, — там нет ни коммунистов, ни троцкистов.

Папа от ее слов как-то весь сжался, посмотрел налево, направо, приложил указательный палец к губам и произнес:

— Ц-ц-ц...

Обратная дорога показалась мне короткой. Когда проходили мимо зенитной батареи, то бойцов на этот раз было много. Раньше они где-то прятались, а сейчас так получилось, что все на виду. Красноармейцы были возбуждены, весело разговаривали и размахивали руками. Наверное, радовались, что хорошо постреляли. Я хотела отыскать среди них того солдатика, стриженного под ноль, но никак не могла найти, сейчас все были в пилотках, а некоторые даже в касках. И все выглядели взрослыми, даже старыми. А потом я его узнала. По белому платочку за поясом. Только сейчас он тоже показался мне взрослым дядькой, и в глазах уже не было ни грусти, ни сочувствия. Он держал во рту папироску и улыбался, поглядывая на меня. Еще и ручкой мне помахал. Нахалюга. А вот зубы у него щербатые.

Потом я увидела батарейного коня. Этот рыжий красавец лежал на боку под кустом ежевики. Сейчас он казался плоским, только живот у него раздувался, как шар. Видать, хорошо накушался перед тем, как умереть.

Папа тоже обратил внимание на убитого коня, недолго думая, прихватил Виталика за подол телогрейки и сказал:

— Найди командира и упроси, чтобы дал ляжку конины. Он нам мяса, мы ему — выпивку.

— А чего я? — удивился Виталик.

— А кто? Я, что ли? — папа другой рукой взял Виталика за грудки и притянул к себе так близко, что они едва не стукнулись носами.

— Ну, ладно, ладно, — согласился Виталик и пошел искать командира.

А мы тем временем благополучно вернулись домой.

А вечером, когда все собрались, чтобы помянуть дедушку Гришу, папа выбрал минутку и обратился к доктору Скуляри:

— Михал Михалыч, — сказал папа, — помоги устроить мою Женьку в свою поликлинику. На любую должность. А то цех, где она работала, пострадал при бомбежке.

— Конечно, устрою, — сказал доктор. — Как можно не помочь внучке нашего дорогого Григория Лукича. Пусть завтра же и приходит.

6

Вот и заканчивается первый месяц жаркого севастопольского лета. Оно жаркое не потому, что солнце палит немилосердно, и не потому, что целую вечность не было дождей, нет, оно жаркое из-за войны, из-за проклятых фашистов. Больше года идет война, но теперь у нас особенно трудно. Ни одного дня покоя. Налет за налетом. Только скроются восемьдесят восьмые, как тут же в небе появляются «хенкели». Город полыхает целую неделю. Не знаю, что там еще осталось огнеопасного, но центр горит, как огромный костер. Мне иногда кажется, будто под городом поместили гигантский примус, и какой-то вредный великан все время подкачивает керосин.

Димка на днях снова мотался в центр в те часы, когда у немцев был обед. Говорит, там стоит невыносимый жар, к домам подойти невозможно. Все вокруг красное от огня, все раскаленное. На улице Фрунзе жители обливаются морской водой прежде, чем заскочить в свою квартиру и забрать документы и вещи.

Папы нет дома уже два дня. Его вызвали на работу. Сказали, надо чего-то там полотать, чтобы не досталось немцам. Это если фашисты захватят завод. А что-то другое, наоборот, надо вывезти на кораблях и спасти.

Мы с мамой и Нонка с Виталиком почти безвылазно сидим в скале. Выходим только в нужник да на летнюю кухню, чтобы сварить картошки. Да еще в перерывах между бомбежками я успеваю сбегать в поликлинику, сделать перевязки раненым и немножко прибраться. Обычно Михал Михалыч меня сразу отпускает.

— Женя, — говорит он, — отправляйся домой. А то твоя мама будет переживать, все косточки мне перемоет.

Ночью, когда тихо, мы перебираемся в комнаты и спим до утра в своих кроватях. Мама говорит, что мы спим чутко, одним глазком. Не знаю, может, мама и одним глазком, а я сплю так, что меня не добудишься. Утром с Северной стороны уже начинают обстреливать город, уже «юнкерсы» гудят в небе, а я не могу разлепить глаза. Лежу,

пока мама веником не обогреет. Она этот веник специально держит под рукой. Так мы и живем в последнее время.

Но вчера доктор Скуляри попросил, чтобы я пришла с утра пораньше в поликлинику и помогла оформить раненых для отправки на Большую землю. У нас раненых одиннадцать человек. Коек для лежачих больных нет, мы же не больница и не госпиталь, мы железнодорожная поликлиника, поэтому бедные ребята лежат в подвале на чем попало. У нас и лекарств нужных не имеется. Так, перевязочный материал, йод. Михал Михалыч оборудовал свой кабинет под операционную. Оказываем первую помощь, удаляем осколки, зашиваем раны. Я уже ассистировала несколько раз как операционная сестра.

Сейчас мы с доктором сидим в подвале и дожидаемся, когда приедет машина за ранеными. Наверху все грохочет, и мне кажется, что земля под ногами ходит ходуном.

— Уже близко, — сказал доктор и поглядел на керосиновую лампу, подвешенную к деревянной балке. Лампа раскачивалась и мигала светом.

— Михал Михалыч, — спросила я, — а что Москва говорит?

— Тш-ш-ш, — зашипел доктор и зыркнул своими черными глазами в сторону раненых солдат, не дай бог, услышат.

О том, что у доктора спрятан радиоприемник знают трое — он сам, я и папа. Папа помогал доставать детали, чтобы эта штука заработала. Если о приемнике станет известно начальству, беды не миновать. Даже у нас дома, как я помню, лежит бумажка примерно такого содержания: на основании постановления Совнаркома от 25 июня 1941 года вам, то есть нам, Максимовым, предлагается до 30 июня сдать радиоприемник на временное хранение. Если не сдадим к указанному сроку, нас будут судить по законам военного времени.

Доктор придвинулся ко мне так близко, что я почувствовала запах спирта, Михал Михалыч уже успел приложиться.

— Вот, — сказал он тихо и раскрыл коробку «Казбека». На внутренней стороне крышки было что-то написано его неразборчивым почерком. — Здесь у меня вечернее сообщение Совинформбюро, слово в слово, — произнес Михал Михалыч. Он наклонился ко мне и принялся шептать. Его губы щекотали мое ухо. — На Севастопольском участке фронта, — шептал доктор, — наши войска отбивали многочисленные атаки превосходящих сил противника. Противник ввел в бой новые резервы, и ему ценой больших потерь удалось продвинуться вперед. Бои носят исключительно ожесточенный характер.

— Вам не нужно хранить эту коробку, — сказала я и отодвинулась от доктора.

— Ожесточенный характер, — задумчиво повторил Михал Михалыч, прислушиваясь к грохоту над нашими головами.

В это время отворилась дверь, и в подвал заглянул всклокоченный, запыхавшийся мальчишка в синей спецовке. Примерно мой ровесник. Из закатанных рукавов торчали худые руки, перепачканные угольной пылью.

— Вот вы где, — сказал он, не поздоровавшись. — Мне нужен главный.

— Ну, наконец, — облегченно вздохнул доктор Скуляри и тяжело поднялся со скамейки, опираясь на мое плечо. — Ты где поставил машину?

— Какую машину? — удивился мальчишка. — Я от начальника железнодорожной станции. Сейчас будет митинг в депо. От вас велено направить одного делегата.

— Что? — Михал Михалыч замотал головой, как будто хотел стряхнуть наваждение. Даже пенсне слетело, и он принялся ловить его, хлопая руками по толстому животу. — Какой митинг? Вы что там — с ума посходили?

— Это приказ. Выступать будет секретарь горкома Савина. О текущем положении.

— Передай своему начальнику и этой из горкома, — начал свирепеть доктор, — пошли бы они...

Я метнулась к Михал Михалычу и прикрыла ему рот рукой.

— Не ругайтесь, — попросила я. — Ну, пожалуйста, Михал Михалыч. Я буду делегатом и пойду с ним в депо. А вы — тут. Вы же справитесь без меня? Документы я приготовила, вон, на столе.

Доктор никак не мог успокоиться, ворочал своими могучими плечами, водил подбородком туда-сюда и норовил что-то произнести, но я стояла перед ним и указательным пальцем постукивала себя по губам, как будто приказывала: молчать.

— Как же ты пойдешь? — сказал наконец доктор и поднял руку. — Смотри, что делается.

— Так это... Шас затихнет, — сказал мальчишка, шкрябая ногтями взлохмаченные волосы на макушке. — У них обед скоро.

В депо я никогда не была, поэтому больше глазела по сторонам, а на выступающих почти не обращала внимания. Крыша депо, вернее, не крыша, а такой высоченный полукруглый свод уходил далеко вперед. Даже не видно, где он заканчивался. Дневной свет падал из распахнутых ворот и тускнел где-то в середине помещения. А дальше — мрак. Если присмотреться, там, в глубине депо, можно было разобрать силуэт маленького паровоза, «кукушки», товарный вагон и целую вереницу колесных пар, выставленных вдоль стен. Народу присутствовало не очень много, в основном женщины. Мы стояли спиной к воротам, а те, которые выступали, забирались по очереди на железную площадку и произносили речь. Я была самая крайняя, стояла за чужими спинами, а за мной уже никого не было, только ворота. Сначала говорили мужчины, а потом на площадку поднялась женщина. Я сразу узнала ее. Это она приходила на похороны дедушки Гриши. Тогда она была очень красивая, в бежевом макинтоше из тоненькой чесучи и в шляпке «менингитке». Значит, то была секретарь горкома Савина? Ничего себе. Я даже запомнила запах ее духов. Ну, конечно, «Красная Москва» по двадцать восемь рублей пятьдесят копеек за маленький флакончик. И вот я снова вижу ее. Только теперь эта женщина одета в светлую тужурку с накладными карманами и темными околышками. Такие тужурки до войны носили проводницы московского поезда. Савина говорила отрывисто и махала рукой, как будто рубила капусту тесаком. Я стала прислушиваться, но удавалось разобрать лишь отдельные слова: партия, народ, Севастополь.

В это время прямо к воротам депо подъехала черная «эмка». Из нее выскочил военный и, расталкивая женщин, начал протискиваться туда, где выступала Савина. Он ловко запрыгнул на площадку и что-то сказал на ухо моей красавице.

В это время кто-то из толпы выкрикнул:

— Антонина Алексеевна, скажите, а город не сдадут?

Савина уже хотела спуститься по лесенке, но когда услышала вопрос, замерла как вкопанная. Потом вскинула голову и произнесла громко, по слогам:

— Ни-ко-гда! — она тут же подняла руку и принялась рубить капусту. — Работайте спокойно! Исполняйте долг перед Родиной! Партия нас не оставит. С часу на час должно прибыть подкрепление. Мы отбросим фашистов от стен города. Враг будет побежден!

Когда Савина проходила мимо меня и садилась в машину, я изо всех сил втянула воздух носом, но запаха «Красной Москвы» не учуяла. Здесь пахло только паровозной гарью и железнодорожными шпалами.

Я торопилась вернуться домой, пока не начался очередной налет. На окраинах по-прежнему гроыхала стрельба, видно, там шел крепкий бой. Если мне побежать

напрямую, дорога займет пять минут. Но можно идти вразвалочку. Сначала по Охотской, потом подняться на улицу Зеленую. Отломить кисточку душистой акации, пожевать ее. Сорвать зеленых абрикосов в палисаднике у Евы Дейнеко. Наши мальчишки называют такие абрикосы «котиками». А у дома Мельниковых можно набрать полную жменю шелковицы. Так я и сделала. На все про все ушло десять минут. У нас ведь все рядышком. Слободка.

Дома меня встретила расстроенная мама. Оказывается, во время утренней бомбежки распахнулась калитка, и наша коза Капа убежала.

— Где ее теперь найдешь, — плакала мама. — А без Капы не проживем.

— Я найду Капу, — сказала я и направилась к двери.

— Куда? — мама вцепилась в мою руку мертвой хваткой.

— Бо-ольно, — заныла я. — Мама, я знаю, где Капа. Ты же сама говоришь, без нее не проживем.

Мама задумалась, глянула в окно на сизые тучи дыма, что поднимались над центром города, и разжала пальцы:

— Ладно, — сказала она. — Только смотри, одна нога здесь, другая там. Скоро начнется...

Я была уверена, что Капа сейчас на «козьей горочке», пощипывает себе травку и не обращает внимания на канонаду. Уже привыкла. В другое время она бы к вечеру сама вернулась, без моей помощи. Но вот-вот налетят немецкие самолеты, все вокруг начнет громыхать, и даже воздух будет рваться в клочья. Бедная Капа испугается, бросится сломя голову бог знает куда. Потом ее точно не найдешь.

«Козьей горочкой» у нас называют кусочек степи за кладбищем. Ровное пространство то приподнимается, то спадает, точно пологие волны Черного моря. Там и сям торчат кусты терновника. Со стороны Лабораторного шоссе «козью горочку» защищают обрывистые скалы с лисьими норами внизу. А с другой стороны тянется глубокий провал Длегардовой балки. Наверное, здесь растет самая вкусная трава в мире. Наши коровы и козы бегут сюда со всех ног. Раньше, когда войны не было, сюда по вечерам поднимались влюбленные. Миловались сколько угодно, не опасаясь непрошенных свидетелей.

Чем выше я поднималась на Зеленую горку, тем становилось страшнее, как будто отсюда, сверху, война открывалась по-настоящему.

С Северной стороны и с Корабелки доносилась непрерывная стрельба, ухали пушки, рвались снаряды, протяжные раскаты взрывов прорезали короткие пулеметные очереди. Воздух дрожал, а дома и деревья подпрыгивали вместе с землей. Из-за Петровой слободки в небо поднимались серые тучи пыли. Солнце превратилось в бледное пятно, которое расплывалось по небу, как вода на промокашке. Над поверхностью Южной бухты тянулся черный дым.

Я уже добежала до зенитной батареи, когда сквозь канонаду артиллерийской стрельбы прорезался гул самолетов. «Юнкерсы» летели над моей головой один за другим. Кажалось, им не будет конца. Они шли и шли, накрывая воем всю степь. От страха я нырнула под маскировочную сетку зенитной батареи. И сразу налетела на красноармейца, даже ткнулась носом в его каску. Я ойкнула и опустила на корточки.

— Страшно? — спросил боец скучным прокуреным голосом. Это был дядечка лет сорока с морщинистыми щеками, обросшими щетиной. Гимнастерку он снял и сидел в одной майке, которая была такого же цвета, как пыль на небе, и в каске. Дядечка выцарапывал ложкой остатки каши из жестяной банки. На ремешке его каски болтался стебель травы.

- Очень страшно, — призналась я.
- А чего дома не сидишь?
- Я козу ищу. Белую. Вы не видали?
- Не-а, — ответил красноармеец. — Ты давай, это... Домой. Видишь, чего делается, — он потыкал ложкой в маскировочную сетку, над которой в небе проходили тяжелые «юнкерсы».
- А вы почему не стреляете? — спросила я с вызовом.
- Так, это... — сказал он, зевая и прикрывая рот жестяной банкой, — снарядов нет. Ждем, может, подвезут.

Спустя несколько минут самолеты отбомбились над Северной бухтой и ушли в сторону Инкермана. Стрельба немножко убавилась. Правда, стучали еще пулеметные очереди да изредка разрывался какой-нибудь снаряд, как будто случайно залетевший в город. Я пожелала красноармейцу приятного аппетита и помчалась на «козью горочку».

Капы нигде не было. Я стояла и раздумывала, куда мне пойти. Как тот богатырь. На лево, к лабораторному шоссе? Или направо, в Делегардову балку? А может, лучше развернуться и бежать домой со всех ног?

Вдруг я увидела маленький самолет. Он выскочил из пыльного облака, которое висело на востоке, и летел точно на меня. Я даже глазам своим не поверила, это был наш истребитель И-16, Виталик еще называл его «ишачком» и говорил, что «ишачок» уже отгулял свое, пора ему на покой. Но в начале войны у нас было немало таких истребителей. Они сражались с «мессерами» и «фокке-вульфами». Однако в небе наших самолетов давно уже не было. Я даже не помню, когда в последний раз видела звезды на крыльях. И вот он летит. Наш! Родной!

Вдруг мне показалось, что И-16 летит очень низко. Подозрительно низко. А спустя несколько мгновений я заметила, что за ним тянется тонкий шлейф дыма. Самолет едва не зацепил вершину холма на другой стороне Лабораторки, но качнул крыльями и выскочил на «козью горочку». Стукнулся о землю, подпрыгнул и снова ударился. И понесся по степи, раздирая брюхо и разбрызгивая землю в стороны. Его крылья задевали кусты, ломались, вверх летели какие-то ошметки. Неожиданно самолет развернуло на ходу и поволокло боком к обрыву. Он почти остановился на самом краю. У меня в животе все поджалось и сердце замерло.

— Нет! — крикнула я. — Держись, не падай!

Но самолет медленно наклонился правым крылом в сторону балки и пополз вниз.

Я бежала изо всех сил, просто летела с «козью горочки». Я мчалась не по тропинке, а напрямик. Виляла между скалами, которые торчали из земли, как зубы огромных хищников. Мои ноги путались в траве, цеплялись за тугие косички чабреца, за нити пырея. Здесь можно было спикировать носом, и тогда, как говорит мама, костей не соберешь.

Самолет был недалеко. Он замер посередине склона, наверное, зацепился за острые выступы. Я его отлично видела, хотя в глазах у меня все подпрыгивало от того, что бежала, как ненормальная. В том месте, где самолет застрял, был очень крутой уклон, а чуть ниже — лисьи норы, там вообще обрыв метров десять, а внизу — здоровенные гулики, обросшие коричневым мхом. Я поняла, что напрямую к самолету не проскочить, и забрала чуточку влево, но не рассчитала и с разбега влетела в терновый куст. Услышала, как затрещало мое штапельное платье. Ну вот, только этого не хватало. Я замерла, боялась шелохнуться, чувствовала, как колючки впиваются в мое тело.

Зато теперь рассмотрела, что самолет горит. Он еще не был охвачен пламенем, огонь занимался неторопливо, причем горела трава чуть ниже самолета и правое крыло. Но с каждой секундой огонь все ближе подбирался к фюзеляжу, к кабине. Защитного фонаря над кабиной летчика не было. Может, его оторвало, а может, он так и летал, без фонаря. Летчика тоже не было видно. Но это сначала так показалось, а когда я всмотрелась, то заметила макушку шлема, выступающую над краем кабины, и кисть руки. Наверное, летчик хотел выбраться, да не смог.

Я наконец выпуталась из колючих зарослей. Ноги и руки были изодраны в кровь, саднили. Но сейчас было не до того. Я набрала побольше воздуха и бросилась вниз по склону.

Подобраться к самолету было непросто. Огонь уже полыхал всюю с правой стороны кабины, которая была обращена вниз. Я выставила ладони перед своим лицом и начала медленно подступать к кабине крохотными шагами. Шаг, другой, третий. Надо бы сделать еще парочку и заглянуть внутрь. Но жар был такой горячий, что я не могла приблизиться даже на сантиметр. Да что приблизиться, на месте невозможно устоять. Я отступила и крикнула:

— Эй, летчик! Ты живой?.. Лет-чик!

И тут я заметила, что его рука, которая лежала на ободке кабины, чуть-чуть пошевелилась, даже не рука, а только пальцы. Ура, он живой!

Да, но что делать мне? Еще несколько мгновений и пламя охватит всю кабину, весь самолет. А я ничего не смогу предпринять. Я буду стоять и смотреть, как русский летчик заживо сгорает в этом адском костре.

Я начала выть, как собака, запертая в подвале, я заметалась, взгляд мой стал прыгать с одного на другое, хотя в голове не было ни одной мысли. Что-то мелькало с огромной скоростью, колотилось. Сплошной сумбур.

Руки сами схватили здоровенный кусок бесформенного листа, то ли это была жестянка, оторванная от крыла, то ли какая-то фанера, не знаю. Я выставила этот лист перед собой, словно щит, и шагнула навстречу огню. Летчик сидел, уронив голову. Его левая рука была задрана и держалась за край кабины. Лист защищал меня от огня, но пальцы так жгло, будто они прикасались к раскаленным углям. Я больше не могла держать свой щит. В последний миг сунула его в кабину между летчиком и огнем.

Как я вытащила его, даже не представляю. Наверное, мне повезло из-за того, что голова выключилась и перестала думать, зато мои руки оказались умными и проворными. Соображать я стала потом, когда волокла этого дядечку вниз по склону, зацепив его под мышки своими руками, как крючками. Я тянула, а он скользил по траве. Вдруг у меня закончились силы. В одну секунду, раз — и руки повисли. Я рухнула на траву. Лежала рядом с летчиком и смотрела в пустоту.

Спустя какое-то время в моей голове что-то заработало. Я догадалась, что передо мной не пустота, а крымское полуденное небо, затянутое серой пылью. Чуть сместила взгляд и увидела склон балки и самолет, который догорал где-то там, наверху. Серый дым струился над его останками.

Странно, но только сию минуту у меня как будто открылись глаза и раскупорились уши. Я вдруг услышала звуки боя, этой страшной битвы, которая разворачивалась на подступах к Севастополю. Гул, трескотня выстрелов, разрывы снарядов и вой железа, пронзающего весь белый свет. Что-то тарахтело не умолкая, что-то выло на разные голоса. Я села и увидела людей, которые двигались по руслу балки в сторону города. Это были красноармейцы. Они шли небольшими группами. Одни почти бежа-

ли, другие тянулись медленно, помогая товарищам. Кого-то несли на брезентовых лоскутах, как на носилках, иных тащили, подхватив за талию и подставив собственные плечи. Я подумала, может, у тех ребят, которые сейчас отступали к городу, не было снарядов и пуль, как у моих зенитчиков, поэтому они торопились в тыл, чтобы запастись снарядами и пулями. Ведь красивая женщина Савина обещала, что нас не оставят, помощь придет с часу на час.

Только теперь я впервые могла рассмотреть летчика. Он был небольшого роста, одет в серый комбинезон. Ремешок планшета перекинут через плечо. Шлем мы где-то потеряли. Сейчас летчик лежал на траве, запрокинув голову. Его русые волосы, подстриженные под полубокс, сбились на угол невысокого лба. Лицо было очень красивое. Такое мужественное лицо с прямым носом и твердым подбородком. Жалко, что пожилой. Лет тридцать, наверное. Да еще обожженная щека была сизой и скользкой. Интересно, какие у него глаза?

— Эй, товарищ летчик, как себя чувствуете? — спросила я.

В ответ он что-то пробормотал и с трудом разлепил веки. Глаза у него оказались зеленые. И, что странно, веселые. Надо же, в нем жизни на две копейки, а глаза как будто смеются. Летчик приподнял обожженную кисть. Я протянула ему свою руку и почувствовала, как он сжимает мою ладонь, словно благодарит.

Пока я разглядывала летчика, в груди у меня зрело беспокойство: как дальше быть? Тащить его нет сил. Да и куда тащить? Можно, конечно, обратиться к бойцам, что возвращались в город, попросить, чтобы доставили летчика в госпиталь. Но что-то подсказывало мне: этот номер не пройдет.

В конце концов я решила, что нужно вернуться домой, позвать на помощь Славку-комсорга. Захватить нашу тачку, ту, которая с одним колесом, погрузить в нее летчика и на пару со Славкой довести беднягу до нашей поликлиники. С доктором Скуляри я договорюсь.

— Потерпите немножко, — попросила я.

Затащила летчика в ближайшую пещеру. Их здесь полным-полно, этих естественных пещер, больших и маленьких.

— Я скоро вернусь, — сказала я на прощание.

И помчалась домой.

Не успела переступить порог дома, как снова послышался гул немецких самолетов. Они летели, как стая черных ворон, закрывая половину неба. Накатывали волна за волной.

Мы сидели в скале и не решались выйти. Звуки разрывающихся бомб и непрерывной стрельбы доносились сюда, под толщу камня.

Я все время думала о своем летчике, как он там? У меня с собой даже воды не было, чтоб его напоить. Скорей бы закончилась эта бомбежка, тогда сбегая к Славке, потом туда, за летчиком. Меня просто колотило от нетерпения, даже чесаться начала, раздирала ногтями кожу вокруг шеи, драла затылок. Мама посмотрела на меня и сказала:

— Доченька, да ты, похоже, вшей нахваталась у своего доктора Скуляри.

Нонка, как это услышала, тут же передвинулась от меня подальше.

Часов около семи вечера бомбежка прекратилась. И стрельба тоже уменьшилась, откатилась куда-то вдаль.

Когда мы выбрались на белый свет, то увидели в нашем дворе румынских солдат. Виталик узнал их по форме, они были в коротеньких тужурках, выгоревших почти добела, и в просторных брюках с обмотками на ногах. Солдаты вытаскивали из Нон-

киной комнаты швейную машинку «Зингер» и отрезы сукна, которые Виталик добывал на армейских складах.

Нонка тут же бросилась отбивать машинку, вцепилась в румына, как бешеная кошка, и давай орать:

— Не отдам! Это моя кормилица!

Солдат оттолкнул Нонку. Она рухнула на помидорную грядку. Юбка у Нонки задралась, обнажив розовые панталоны. Солдат заржал.

Виталик попытался заступиться за жену, стал кричать на солдата и размахивать руками.

Солдат поднял винтовку и ударил Виталика прикладом в лоб.

7

Наша коза Капа оказалась большой умницей. Утром, ни свет ни заря она стояла перед запертой калиткой и терпеливо ждала, когда ее впустят в дом и напоят водичкой.

Мама обнаружила Капу первой и так обрадовалась, что на мгновение забыла обо всем. Забыло про войну, забыла про папу, который сейчас неизвестно где, забыла про Виталика, хотя просидела с ним до глубокой ночи, пока Нонка бегала за доктором.

— Милая моя козочка, — приговаривала мама, опустившись перед Капой на корточки и почесывая ей шею, — ты вернулась. Плохо тебе без нас?

Теперь про доктора. Михал Михалыча не оказалось дома. Нонка напрасно прождала его до полуночи, потом оставила записку и вернулась, сменила маму возле Виталика. И вот теперь, ранним утром, мама с Нонкой по очереди выходили на улицу, смотрели, не подошел ли доктор. А калитку закрывали, боялись, что опять нагрянут румыны или немцы. Как потом оказалось, совершенно напрасно закрывали, если фрицам нужно было войти, они сносили калитку вместе с петлями.

А я тем временем приготовила тачку и сбегала за Славкой Тарасовым на соседнюю улицу.

И вот мы с ним поднялись на вершину Зеленой горки, миновали кладбище. Перед нами лежала равнина с пригорками и впадинами. Вся степь была исчерчена следами танковых гусениц. Между этими следами зияли воронки с разбросанным известняком, чернели плечи еще тлеющей травы. Повсюду валялось оружие. Винтовки, автоматы, какие-то ящики, пулеметные ленты и каски. То и дело на нашем пути встречались убитые воины. Некоторые лежали в странных, каких-то неестественных позах. Трудно было разобраться — наши это или враги.

Солнце только-только выглянуло из-за Мекензевых гор и светило прямо в глаза. Славка катил тачку и, прищурившись, настороженно смотрел по сторонам.

— Выполняй мои команды, — сказал он, — и смотри, никакой самодеятельности. Ты поняла?

— Так точно, товарищ командир.

Чтобы добраться до пещеры, где я оставила летчика, нам предстояло спуститься по склону балки к Лабораторному шоссе. Несмотря на раннее утро, по шоссе уже двигалась немецкая техника, шли солдаты.

Где-то позади, за нашими спинами, началась перестрелка. Немцы вытеснили наших бойцов за город, и сражение шло далеко, наверное, аж возле Стрелецкой бухты. А по Лабораторному шоссе продолжали входить в город новые части. Немецкие, румынские, еще бог знает какие.

— Жека, слушай внимательно, — произнес Славка.

— Ну?

— Эти сволочи, — сказал он, поводя плечом в сторону шоссе, — сейчас очень злые. Получили хорошую взбучку. Их товарищей покروшили. И они готовы убивать всех без разбору. Теперь им все можно. Победители чертовы. Тьфу! — сплюнул Славка.

— Боишься? Назад, что ли, поворачивать? — спросила я.

— Вот зараза, — беззлобно сказал Славка. — Нет, не назад. Но будем двигаться осторожно. Прятаться нам нельзя, подумают, засада, и сразу пристрелят. И шагать, как на параде, тоже нельзя.

— А как?

— Надо сделать вид, что мы вышли из дома не просто так. Нас что-то заставило. Ну, такое... Жизненно важное.

— Слушай, давай я сяду в тачку, а ты вези. Пусть думают, что я больная или раненая.

— Хорошая мысль, — согласился Славка. — Садись.

Пока мы спускались к пещере, на нас никто не обращал внимания. Но когда до цели оставалось шагов двадцать, на шоссе остановился немецкий танк. Его башня стала медленно разворачиваться. Не успели мы сообразить, что к чему, как ствол пушки смотрел точно на нас. Славка опустил тачку и крикнул мне:

— Подними руки! Быстро!

Мы застыли с поднятыми руками, а фриц, который выглядывал из люка, сфотографировал нас, засмеялся и даже помахал нам пальчиками.

Танк уехал, а мы продолжали торчать, как истуканы, с поднятыми руками и не могли пошевелиться. В конце концов пришли в себя и чуточку успокоились. Теперь надо было выбрать момент, когда на шоссе останется поменьше посторонних глаз. Вот прошли военные машины, прошли солдаты, и на дороге остались большие грузовики, которые тащили за собой прицепы. Мы оставили тачку снаружи и нырнули в пещеру.

Хорошо, что я залезла первой, иначе все могло закончиться плохо. Летчик лежал на боку почти у самого входа и держал пистолет наизготовку. Он уже догадался, что немцы в городе, и готовился к встрече. Но вовремя сумел рассмотреть, что перед ним не солдат и вообще не мужчина, поэтому не стал стрелять.

— Вы меня узнаете? — спросила я.

Солнечные лучи проникали в пещеру сквозь заросли кустов и освещали шербатую стену и белую известковую пыль, которая лежала толстым слоем, как подстилка.

— Узнаю, — с трудом проговорил летчик. Голос его как-то странно булькал. Летчик закашлялся и прижал руки к животу. Потом выплюнул черный сгусток и скосил глаза на Славку. — Это кто?

— Мой друг, — сказала я и вытащила из-за пазухи чекушку, заткнутую пробкой. — Попейте водички.

Я думала, он будет пить жадно, с удовольствием, но летчик сделал два глотка и снова закашлялся. Потом перевернулся на спину и опустил голову на песок. Прикрыл глаза.

— Спасибо, — произнес он тихо, почти не размыкая губ.

Я смотрела на него и не могла оторвать взгляд, до чего же он... Хотела сказать — красивый, но нет, не то. У нас на слободке встречаются мужчины, которые покрасивей этого летчика. У них и черты лица правильные, и глаза притягивают, как магниты, и волосы вьются. А у моего летчика было что-то необъяснимое, что-то такое... Родное, что ли. Ну, вот как у мамы. Даже когда мы ругаемся с ней, когда она злит меня, все равно нет никого роднее мамы. И здесь я тоже почувствовала это родное. Может, это чувство появилось оттого, что я спасла летчика и теперь мы сроднились?

— Надо его переодеть, — сказал Славка.

— Во что?

— Давай хотя бы комбинезон снимем. А то сразу видно, что военный.

Мы потратили немало времени, пока объясняли летчику свою задумку. Он сейчас неважно соображал. Но когда понял, долго еще противился, опасался, что попадет в плен. Наконец мы стащили с него комбинезон. И тут у меня мурашки побежали по спине. Я увидела его обожженную шею и грудь, даже не обожженную, а оплавленную, покрытую пузырями и слизью. Повсюду были ссадины и запекшаяся кровь. Но главная беда таилась где-то внутри. Он не мог нормально втянуть воздух, а всякое движение давалось ему с трудом.

Славка зарыл в углу пещеры одежду летчика, его планшет и пистолет. И серую книжечку, удостоверение. Перед тем как отдать удостоверение Славке, я открыла его и прочитала вслух:

— Корнеев Александр Яковлевич, капитан, командир эскадрильи 527-го истребительного полка.

— Запомни, — сказал Славка. — Если что, это твой дядя. Учитель математики.

Летчик был невысокого роста, худенький, но тащить его было непросто. Славке пришлось вытянуть за ноги Александра Яковлевича из пещеры. Взвалить на свои плечи. И шагать с ним по тропинке, уходящей вверх. Я двигалась следом. Изо всех сил налегала на тачку, которая казалась мне ужасно тяжелой. Летчик стиснул зубы и молчал. Иногда у него вырывалось глухое мычание, которое он тут же старался подавить. А Славка молодец. Чухал в гору, как паровоз. И пыхтел, как паровоз.

Выбравшись наверх, мы опустили летчика в тачку и повезли. Его руки и ноги болтались и доставали почти до земли. Колесо тачки то вязло в глине, то в этом проклятом колесе запутывались стебли молочая, и тогда оно переставало вращаться.

Еле добрались.

Наши улицы были совершенно безлюдными, зато внизу перед вокзалом собралось столько машин, сколько я в жизни не видела. Танки, грузовики, какие-то будки на колесах, легковушки и тягачи с прицепленными пушками, все это было в такой куче, что непонятно, как они разъедутся.

— Эх, жажнуть бы по ним четырехсотым калибром! — воскликнул Славка.

Но наших не было нигде. Даже маленького калибра не было.

Мы со Славкой подхватили летчика. Мне он показался совсем нетяжелым. Правда, в калитке мы все-таки застряли, и летчик помогал нам, придерживая дверь рукой.

— Куда его? — спросил Славка.

Я подняла голову и осмотрелась. У нас во дворе стоит обеденный стол, укрытый клеенкой. В торце стола — старое плетеное кресло, похожее на царский трон. А вдоль — длинная-предлинная скамейка. Раньше, когда мы собирались по праздникам, на этой скамейке помещались пять человек.

Мы опустили летчика на скамейку. В это время из Нонкиной комнаты вышла мама. За ней показались доктор Скуляри и Нонка, которая держала Михал Михалыча под руку и, задрав голову, смотрела ему в глаза.

— Положение вашего мужа, — сказал доктор, — весьма серьезное, но безнадёжное. Повреждена лобная кость. Сильное сотрясение мозга. Он должен лежать. Не пытайтесь его поднимать. Давайте пить, кормите умеренно. Из ложечки.

— А как же на горшок? — спросила Нонка.

— Пока используйте баночку. Или судно.

— Какое судно? — сказала Нонка. — Где я возьму?

— Нонночка, — примирительно сказал доктор, — я знаю ваши возможности. Вы волшебница. Пальчиком шевельнете — и все исполнится.

— Да ну вас, Михал Михалыч, — улыбнулась польщенная Нонка. Но тут она заметила летчика, и ее милое улыбающееся личико стало меняться и очень быстро превратилось в оскаленную бульдожьё морду. Она отпустила руку доктора и подошла к скамейке. — Это еще что за чучело? — свирепо прорычала Нонка.

— Это летчик, — сказала я, обращаясь к маме и намеренно не замечая Нонкиного рыка. — Я вчера говорила о нем.

— Да, да, помню, — сказала мама. — Куда же его поместить? — задумалась она. — Может, в твою комнату, доченька? А ты в нашу, пока папы нет.

— Лида, на черта он тебе сдался? — возмутилась Нонка, она вытянула обе руки в сторону летчика и начала ими трясти, от чего ее грудь и сало на боках стали подпрыгивать под материей платья. — Он тебе кто — сват, брат? Кому он здесь нужен?

— Мне, — сказала я.

— Ой, жалостливая нашлась, — сказала Нонка и повернулась ко мне. — А чего тока одного притащила? Иди, подбери еще. Этих дохляков сейчас половина Севастополя. Давай их сюда. Всех.

Михал Михалыч тоже подошел к летчику и принялся молча его осматривать. Ощупал подбородок, затылок, потом задрал майку.

— Это, — сказала Нонка и ткнула своим пухлым пальцем в сторону скамейки, — это лишний рот. Самим жрать нечего, а вы... — она запнулась, подошла к маме и, подняв руки, снова затрясла ими. — О чем ты думаешь, Лида? Тут бы моего Виталика как-то выходить, — Нонка захныкала и принялась вытирать несуществующие слезы, а потом скомандовала: — Все, выносите этого калеку обратно на улицу. Пусть немцы его кормят. У них должна быть какая-то больница или госпиталь, там заодно и подлечат. Правда, Михал Михалыч?

Доктор осматривал обожженную кожу на груди летчика и огромное синее пятно на боку, протянувшееся от ребер до бедра.

— Что-то мне подсказывает, — произнес доктор Скуляри, — у немцев он не доберется до больничной койки.

8

Наступила вторая декада июля, самое жаркое время года. С приходом немцев нам пришлось переселиться в сарай. Мама укладывалась спать на старой кровати, которая стояла за угольной кучей. Папа еще до войны собирался выбросить эту кровать, да так и не решился. А я расстилала матрац на дедушкином верстаке и дрыхла на нем. Сначала было неудобно, но со временем я приоровилась и теперь считаю, что верстак ничем не хуже продавленного дивана, на котором я спала в доме.

А в наших комнатах поселились румыны. Капрал Ион Греку и сержант Петрэ Мареш, папин тезка. И еще двое, никак не запомню их имена.

Вчера на слободке прошел слух, что немцы собрали красноармейцев, которые остались живыми, в каком-то лагере. В районе Камышовой бухты. Говорят, наших бойцов там видимо-невидимо. И местных тоже немало. Всех сгрузили в кучу. Ночью они спят на земле, а днем их палит немилосердное крымское солнце. Еще говорят, что там половина раненых. И те раненые, которые умирают, продолжают лежать между живыми. Никто пленных красноармейцев не кормит и воды не дает. Не представляю, как они справляют нужду. Наверное, там даже туалета нет.

Может, и папа в этом лагере. Ну да, он там, точно. Где же еще?

Сегодня мы с мамой с утра пораньше напекли картошки, собрали огурцов с грядки. Мы намерены идти к лагерю, искать папу. Не только мы, здесь целый каган собрал-

ся. Наших человек десять, потом женщины с Петровой слободки да еще вокзальские. В общем, получилось прилично.

Мама завернула печеную картошку в полотенце и спрятала ее в корзинку. А мне передала четверть каравая хлеба и сказала:

— Порежь на маленькие дольки. Отнесем папе.

Я начала резать, и в это время на подоконник уселся воробей. Сел и давай чирикать.

— Мама, мама, — обрадовалась я, — смотри, воробышек прилетел. Первая птичка. Эти бомбежки всех распугали. Где вы прятались, птички? Может, в Африке? Хотя и там война тоже.

Я отломил кусочек хлеба и бросила воробью:

— Не бойся. Кушай, глупенький.

— Женя, — сказала мама с укоризной, — ну-ка прекращай хлебом разбрасываться.

— Я немножко.

— Хватит, говорю! Вот отцу отнесем, и все, без хлеба останемся. Кто нас кормить будет?

— Наверное, немцы, — предположила я.

— Ага, разбежалась, — горько усмехнулась мама. — Теперь мы их кормить будем, освободителей.

Мама забрала нарезанные дольки, подержала их в руках, потом вытащила одну, самую маленькую, и протянула мне:

— На. Покорми живность.

И вот мы идем. Миновали центр города, его окраины. По пути встретили несколько немцев. Возможно, это был патруль, хотя не очень похоже: рукава у них закатаны, френчи расстегнуты и прогуливаются вольготно, как у себя дома. Ну, прямо хозяева. На нас даже внимания не обратили.

Потом мы долго шли по дороге, окруженной одной только степью. Мне казалось, что мы топаем уже полдня, не меньше. Наша процессия двигалась медленно, даже пыль за нами не поднималась. Мне очень хотелось рвануть вперед и бежать, пока не покажется этот лагерь с нашими военными. Я то и дело поглядывала на маму и видела, что ей тоже не терпится поскорей добраться туда. Но мы подлаживались под общий ритм, равнялись на всех, кто направляется в район Камышовой бухты. Среди женщин было много пожилых. Одна так совсем старенькая, еле ноги переставляла. Она то и дело останавливалась, чтобы передохнуть. Ее все уговаривали, подталкивали, иначе эта старушка, чего доброго, могла остаться одна и помереть на солнцепеке.

В результате мы едва плелись. К тому же духота стояла страшная, хорошо, хоть косянки были у всех. И очень хотелось пить.

Наши соседи Панасюки плевать хотели на общее движение. Они вырвались вперед и шли не оглядываясь. Они уже были далеко и казались букашками, которые ползут по желтому коврику.

Мама взяла старушку за руку и потащила, как на буксире. Та вроде быстрее пошла, но все равно упиралась и время от времени спрашивала:

— Далеко еще?

— Потерпите, бабушка, скоро придем, — отвечала мама и предлагала ей выпить воды.

Но старушка отказывалась, что-то бормотала насчет того, что каждый должен донести воду своим родственникам, которые ждут нас там.

Полуденное солнце слепило глаза. Я щурилась, но старалась смотреть только вперед. Повсюду на этой пологой степи, которая лежала перед нами, застыли мертвые танкетки, грузовики, телеги и раздавленные пушки. От некоторых машин остались толь-

ко обгоревшие остовы. Они напоминали скелеты древних хищников, которые нарисованы в моем учебнике. Нам говорили, что здесь вся степь была устелена убитыми и ранеными бойцами. Но я никого не видела, наверное, людей успели убрать. Остались только их следы. Всюду валялись брошенные каски, винтовки, какие-то бумажки. Среди бумаг я заметила книжечки документов. То ли их специально выбросили, чтобы скрыть воинское звание, то ли потеряли в этой страшной бойне, которая здесь происходила несколько дней назад. Еще я заметила, что там и сям валяются какие-то бесформенные куски с остатками тряпья. Но я старалась не задерживать взгляд на этих кусках, потому что боялась обнаружить в них остатки человеческой плоти.

Наша цель была уже близко. За краем степи показалось море. Синяя полоска воды тянулась от края до края. Вода слегка поблескивала и завораживала. А тут еще мама вставила слово:

— Странно, — сказала она. — Когда вижу море, мне кажется, что оно сулит покой и умиротворение. Не то что земля.

Она права. Здесь, на земле, все было разворочено снарядами и бомбами. Огромные шматы степи выгорели и чернели на желтом фоне.

Мне в голову все время лезли нехорошие мысли. А вдруг с папой случилось такое, что его нет в том лагере. И, вообще, нет нигде. Я старалась не думать об этом, но мысли сами являлись ко мне. Без спросу.

На дороге, по которой мы шли, все чаще встречались воронки с разбросанным известняком, валялись раскоряченные железки и подозрительные круглые коробки, похожие на те, куда складывают киноленты. Женщины предположили, что это мины. Мы старались обходить их стороной. Но я подумала, вряд ли это мины. По этой дороге столько людей прошло, столько машин проехало, мины давно бы взорвались. Скорее, это какая-нибудь тара для патронов.

Наконец мы забрались на вершину степного гребня, и за его кромкой нам открылась страшная картина. Впереди простиралась голая долина, ни деревца, ни кустика, только высохшие колючки. И вся долина была заполнена людьми. Нашими бойцами. Они сидели и лежали на раскаленной земле так плотно один к другому, что между ними невозможно было пройти. Разве что переступить через тела. Да и то переступишь через одного, а там уже другой, ногу опустить некуда. Такого скопления людей я в жизни не видела. Я вертела головой направо, налево, хотела узнать, где заканчивается этот людской муравейник, но всюду, куда доставал мой взгляд, были только люди. Серая живая масса. Кто-то, возможно, умер и лежал под палящим солнцем, никому до него не было дела.

Я заметила, как женщина в гимнастерке обматывала голову молодому солдатику, меняла ему повязку. Ну, правильно, здесь столько мух, которые разносят заразу. Наверное, слетелись со всего Крыма. Такие противные, зеленые, садятся на потное лицо и кусают. Их отгоняешь, они снова липнут к тебе.

— Господи, — сказала мама, — как же мы найдем отца?

— Найдем, — уверенно заявила я. Специально произнесла громко и отрывисто, чтобы вселить в маму уверенность, хотя сама подумала, что легче найти иголку в стоге сена, чем папу на этой... Даже не знаю, как назвать... На этой огромной свалке несчастных людей.

Тем более что немцы нас и близко не подпускали.

Этот лагерь не был обнесен ни проволокой, ни какой-нибудь загородкой, его просто охраняли. На возвышении располагались немецкие часовые. Их было совсем немного. Один. Через пятьдесят шагов еще один. И так далее. Тот часовой, что оказался к нам ближе других, сидел на венском стуле. Откуда он притащил этот стул, непонятно. Мне он показался нормальным молодым парнем, сидел развалившись, нога заки-

нута за ногу, автомат был перекинут через спинку стула. Его почему-то мухи не кусали, он даже не обмахивался.

Панасюки, которые шли впереди нас, уже приблизились к лагерю, а этот часовой задрал руку и крикнул:

— Zu stehen! Zurück! Zurück!

Панасюки не поняли, что немец приказывал им остановиться и отойти назад. Они продолжали двигаться в сторону часового и даже о чем-то спрашивали его. Тогда немец снял автомат со спинки стула и, почти не глядя, дал очередь в сторону Панасюков.

Старшая Панасючка упала, а ее дочка Вера бросилась к ней и начала орать, как ненормальная. Наши женщины хотели помочь, но их отогнали.

Тут же у немцев появилась подмога — несколько солдат и офицер. Наставили на нас винтовки и стали кричать:

— Halt! Sperrgebiet! Komm nach hause.

Ну, ясно, запретная зона, нас домой прогоняют. Некоторые из наших женщин попытались объяснить, что принесли воду и еду для пленных. Но их и слушать не стали.

— Прочь! Пошли вон!

Старуха с трудом опустилась на землю.

— Никуда я не пойду, — сказала она. — Пусть меня застрелят, сил нету.

Мама пыталась ее поднять, тянула за руку, но старушка, ни в какую — не пойду, и все.

Мамаша Веры Панасючки оказалась жива и невредима. Они вдвоем с дочкой пробежали мимо нас с выпученными глазами. И в это время немцы начали стрелять по верх наших голов. Мы от страха прижались к земле и стали кричать. Отступили назад. Кто-то из женщин поминал Господа, кто-то бормотал проклятия. Мы быстро уходили.

Старушка осталась одна. Наверное, так и продолжала сидеть на земле. А мы уходили и даже обернуться боялись.

Начало темнеть. Мы старались идти в хорошем темпе, но все устали, еле переставляли ноги. Шли молча, сосредоточенно. Потом одна женщина сказала:

— Скоро ночь, а я курей не успею покормить.

После этого все начали дружно говорить, как будто их прорвало. Болтали прямо наперебой.

— От звери!

— Как жить-то будем при ихней власти?

— Ничего, проживем. Бомбить не будут, стрелять не будут, и хорошо. Как-нибудь проживем.

Наша колонна постепенно растянулась, кто-то ушел далеко вперед, кто-то отстал.

— Мама, а что будет с той бабушкой? — спросила я.

— Не знаю, — ответила мама.

Какое-то время мы топали молча, потом мама сказала:

— А что будет с отцом? Со всеми нашими, их там тысячи. Что с нами будет?

Уже совсем стемнело, но светила луна и освещала нам путь. Я подняла голову и увидела, что на небе полно звезд. Они висели низко, над самой головой. Мне казалось, что до них ближе, чем до нашего дома.

Я почувствовала, как от голода меня начинает подташнивать.

— Мама, дай картошечки, — попросила я.

Пока мама рылась в кошелке, я отыскала взглядом ковшик Большой Медведицы. И тут же увидела, как падает звезда, чертит на небе огненный хвост. Надо загадать желание! Быстро! Быстро! Но в голове было пусто. Только и успела произнести в уме: папа живой!

9

Я думала, ладно, вот перестанут бомбить, швырять снаряды на город, наступит долгожданная тишина, и мы заживем спокойно, пусть не в своем привычном режиме, пусть даже по чужим правилам, зато уйдет постоянный страх, что тебя в следующую секунду разорвет в клочья или завалит в скале на веки вечные. Но я ошиблась. Да, три или четыре дня мы блаженствовали. Отсыпались. Даже представить было невозможно, что я выйду во двор, потом на улицу, а там стоит тишина. Такая тишина, что уши закладывает. Но потом в сердце поселился другой страх, новый. Он усиливался с каждым днем, становился крепче, пока не сковал всю грудь, все тело. И теперь уже казалось, что прежние бомбежки, пожары, стрельба и вся наша тогдашняя жизнь с короткими перебежками и сидением в скале — все это давало свободу и надежду. И желание сражаться и побеждать. Пусть не с винтовкой в руках, но хотя бы с рулоном бинта и с пузырьком йода. А теперь у нас... Нет, за всех не буду говорить. А теперь во мне живет новый страх, как будто меня заперли в бочке с тарантулами и ядовитыми змеями. Здесь тихо и тепло. Но я вся скована ужасом. Куда там сражаться? Я боюсь даже пошевелиться.

Каждый день у нас что-то происходит. Одно хуже другого.

Но есть хорошее. Папу отпустили из лагеря.

Немцы, наверное, увидели, что пленных чересчур много, и решили отпустить из лагеря гражданских лиц, которые не были большими начальниками и не были членами ВКП(б). И папа вернулся.

Я увидела его первая. Я как раз прихватила два ведра и пошла по воду. Пока стояла в очереди к водоразборной колонке, разговаривала с Тосей Каблуковой. И вдруг увидела папу. Он поднимался по щербатым ступенькам от перепелиного базара на нашу Кондукторскую улицу. Папа был не один, он тащил скрюченного мужчину, который еле переставлял ноги.

— Папа! — крикнула я и бросилась вниз по ступенькам. Ведра катились за мной, гремели жестяными боками, но я бежала, не оборачивалась. Прыгнула на папу, чуть не свалила его и того дядечку, которого он тащил. — Папа, папочка, — причитала я, обнимая его и целуя. — Ты живой. Мой хороший, любимый папочка.

От папы нехорошо пахло, но я не могла оторваться и продолжала целовать его. Потом мы пошли вверх по ступенькам. Я помогала тащить скрюченного дядечку. Им оказался дядя Яша из семнадцатого дома, его отпустили вместе с папой. Дядя Яша с трудом переставлял ноги и корчился, как будто в животе у него происходили сильные колики. Я посмотрела на папу — в глазах у него блестели слезы.

Дома мы устроили праздник. Ха, тоже сказала — праздник. Просто мы расположились во дворе за большим общим столом, как раньше, до войны. Папа умытый, в чистой рубашке сидел в любимом кресле. Мама, вся заполошная, с опухшим от слез лицом, выставила на стол четыре картошины и четыре недоспевших огурца. Она успела их сорвать в огороде прежде наших квартирантов, румын, и спрятала в погребе на черный день. А получилось на светлый. Нонка принесла кукурузную лепешку и бутылку самогона. Виталику сейчас не до выпивки, он лежит, как бревно, и кормится из соски.

Взрослые выпили, и папа сказал:

— Не могу поверить, что я дома. Думал, все, конец, — он похлопал себя по щекам, словно хотел убедиться, что это не сон.

— Страшно было? — спросила Нонка.

Папа задумался, опустил голову и принялся барабанить пальцами по столу. Потом стал рассказывать, как немцы ходили по лагерю и выискивали среди пленных городских руководителей, коммунистов, армейских командиров, а также евреев и цыган. Прихватывали и тех, кто пытался высказать неудовольствие. Иногда забирали пленных, которые им почему-то не нравились. При этом не было никакого суда или расследования, людей выводили за лагерь, ставили на краю воронки и расстреливали. Затем давали лопаты другим пленным и заставляли их забрасывать тела землей. Больше всего папу поразили наши предатели, которые ходили вместе с фашистами и указывали: это командир, это секретарь парткома хлебозавода, это врач-еврей. Одного предателя папа узнал. Они когда-то выпивали вместе на первомайской демонстрации и даже перепутали портреты, у папы был Жданов, у того мужика — Каганович. Когда их колонна проходила мимо трибуны, Каганович и Жданов оказались не в том порядке, как положено. Папе и тому мужику сильно влетело.

— Такие дела, девочки, — сказал папа. Он выпил стопку самогона, занюхал картошкой и поманил нас пальцем. Когда мы придвинулись, сказал тихо, почти шепотом: — Если мы хотим выжить, надо как-то приспособливаться. Как-то подлаживаться под эту сволоту.

— Как, Петя? — спросила мама.

— Главное, надо задушить собственную гордость. Не взбрыкивать. Ни словом, ни делом. Даже глазами нельзя показывать, что тебе не нравятся их порядки. И терпеть все, что они творят.

— Папа, а если не получится, — сказала я.

— Да, Петя, — поддержала мама. — Вдруг не выдержим, сорвемся. Мы все-таки люди.

— Не получится выживать по-людски, — сказал папа, — будем выживать, как скотины. Иначе крышка. Мы же не хотим, чтобы нас поставили на край воронки? Нет. Значит, будем молча сносить обиды. А раны, которые нам нанесут, тоже будем зализывать молча. И терпеть, терпеть.

На следующий день к нам явился невысокий мужчина с большим портфелем. Сказал, что он из управы.

— Что такое управа? — поинтересовался папа.

— Такая контора, — сказал мужчина. — Будет заправлять всей жизнью в городе. Что-то вроде горкома, только без коммунистов, — он вынул из портфеля узкую полосу бумаги и сунул ее папе. — Вот предписание. Прочитай и распишись.

— Хорошо, — сказал папа и начал читать вслух: — Скрепляю подписью, что я получил сообщение об обязательной явке на работу на свое прежнее рабочее место. Мне известно, что за невыполнение приказа я буду рассматриваться как партизан и буду наказан по закону военного времени, — в этом месте папа прервал чтение и уставился на мужчину из управы. — А если не подпишу? — спросил папа.

— Читай дальше, — посоветовал мужчина.

— Хорошо, — согласился папа и продолжил чтение: — Если я и после этого не явлюсь на работу, то буду арестован я и все мои родные в качестве пособников саботажнику. Подпись. Оберштурм... бан... Язык сломаешь, — вставил папа, — оберштурм-банфюрер СД Фрик.

Некоторое время все молчали, только я нетерпеливо ерзала на стуле, переживала за папу.

— Где расписаться? — спросил наконец папа.

Мужчина постучал скрюченным пальцем по бумажке и сказал:

— Туточки.

Когда человек из управы ушел, я набралась смелости и рассказала о своем летчике.

— Ну, пойдем, покажешь, — сказал папа.

В саманной развалюхе стоял полумрак. Окошко в ней крохотное да еще не мытое с тех пор, как бабушка с Надькой уехали на корабле в Новороссийск, а Нонка перебралась во флигель и перетащила туда Виталика.

Летчик лежал на кушетке, одна рука его свесилась до пола, а голова съехала с подушечки и как-то странно вывернулась к плечу. С того дня, когда мы со Славкой его притащили, летчику становилось только хуже. Сейчас он то ли спал, то ли пребывал в болезненном забытьи.

— Он не жилец, — сказал папа и вышел.

А я чуточку задержалась. Прислушалась к дыханию летчика. Обожженная кожа на его груди почернела и покрылась белыми волдырями, из которых сочился зловонный гной. Я хотела поднять его руку и поправить голову, но побрезговала прикоснуться к нему. Нашла старую тряпку, обхватила этой тряпкой руку летчика, подняла ее. Так же, с помощью тряпки, поправила голову.

«Надо проветрить здесь», — подумала я. И выбежала на воздух.

Примерно с неделю назад всем евреям приказалишить на одежду шестиконечные звезды. На груди и на спине. Размер должен быть ровно сто миллиметров, а цвет желтый. Тетя Мира в тот же вечер зашла к нам и спросила, нет ли у мамы желтой материи.

А уже сегодня вышел приказ: всем евреям, мужчинам и женщинам, детям и старикам, явиться на стадион «Динамо» 13 июля, то есть завтра, ровно в двенадцать часов дня. С собой разрешили взять ценные вещи и одежду, но чтобы все получилось не больше пятнадцати килограмм. И еще можно набрать еды на одни сутки. А тем лицам еврейской национальности, которые не могут передвигаться самостоятельно, нужно заявить о себе в городскую управу.

Папа, когда узнал об этом приказе, велел привести Еву.

— Она гордая, не придет, — предположила я.

— Скажи, это вопрос жизни и смерти, — сказал папа.

И Ева появилась в нашем доме. Целый год ее не было, даже больше, и вот наконец она переступила низкий порожек перед калиткой и прошагала по нашему двору походкой знаменитой актрисы, разодетой в соболиные меха.

Мы собрались в сарае. Сарай этот с недавних пор являлся нашей столовой, нашей гостиной и нашей спальней.

— Ева, — сказал папа, — тебе не нужно ходить на стадион «Динамо».

— Как я не пойду? Это приказ, — возразила Ева. — Тетя Мира уже собрала вещи, сложила мамино золото в коробочку.

— Вот пускай тетя Мира сама топает на стадион, — сказал папа. — А тебя мы спрячем.

— Точно, спрячем, — подтвердила я.

— Петя, это опасно, — заволновалась мама. — Во-первых, для нее опасно. А во-вторых, нам тоже не поздоровится.

— Согласен, — сказал папа. — Это очень опасно. А там, — папа поднял руку и помаhal ею в сторону калитки, — там смертельно. Я насмотрелся в лагере.

— Но ты вчера... — начала мама. — Вспомни, что говорил вчера.

— Все остается в силе, — сказал папа и обернулся к нам: — Женя, Ева, быстро соберите манатки и дуйте в Перекомский переулочок. Пусть Ева отсидится в дедовском доме недельку-другую. А там видно будет. И запомните, — папа погрозил указательным пальцем, — никому ни слова.

— И тете Мире? — спросила Ева.

— Ей особенно, — сказал папа. — Соври что-нибудь.

В дедушкин дом, развалившийся от бомбы, мы забрались с третьей попытки. Сначала Ева вообще отказалась лезть по вертикальной скале, сказала, что она не альпинистка. Потом, когда я показала, за какие выступы надо цепляться, она прошла половину пути, но увидела диван, нависающий над головой, и заявила, что эта бандура сейчас рухнет. Диван рухнет, и мир лишится гениальной актрисы. В конце концов мы оказались на месте.

— Теперь это твой дом, — сказала я. — И не вздумай сбежать.

— Ничего себе, — покачала головой Ева, заглядывая в пропасть, которую мы только что одолели. — Тут захочешь, не убежишь. Обратной дороги нет.

В доме было все, что необходимо для жизни. В комнату, которая наполовину обрушилась, мы решили не заходить. Зато в бабушкиной спальне нашлись подушки и простыни. На стене висела картина Ивана Крамского «Незнакомка». Точно такая же висела у нас дома в гостиной. И еще здесь было трюмо с большими потемневшими зеркалами. Ева тут же опустилась на пуфик перед трюмо и принялась разглядывать себя в фас и профиль, закручивать в колечки пряди волос. Потом открыла ящичек и начала доставать из него бабушкины вещи: пудру, помаду, расчесочки и всякое такое.

— Мне здесь нравится, — заявила Ева.

Единственное, чего здесь не было, так это еды. Ева захватила узелок с продуктами, его должно хватить на день-другой, а дальше надо что-то придумать.

Перед тем как уйти, я проинструктировала Еву:

— Будь осторожна, выходи гулять во двор, но только ночью.

— В какой двор, — скривила губки Ева. — Где ты видишь двор?

Действительно, после того, как часть дома обвалилась, это уже был не двор, а какой-то огрызок размером с огородную грядку. Я выложила из кошелки стеариновую свечку и коробок спичек.

— Женька, — сказала Ева, — как ты считаешь, мне долго здесь куковать?

— Пока война не кончится, — сказала я.

— Скорее бы. А то состарюсь, и меня не примут в артистки.

Мы попрощались, и я ушла.

Скоро должен был начаться комендантский час, я торопилась и не заметила Тосю. Может, так бы и проскочила домой, но щеколда на калитке запала. Чтобы ее поднять, нужно просунуть гвоздик или тонкую веточку в маленькое отверстие. Я обернулась, чтобы найти подходящее приспособление, и увидела Тосю Каблукову. Она сидела на скамейке возле нашего дуба. Она согнулась пополам, ее плечи лежали на коленях. Голова висела, как будто у Тоси была тряпочная шея. Длинные волосы касались земли.

— Тоська! — крикнула я. — Ты что? Что!

Она медленно расправилась, убрала волосы руками.

Я вскрикнула, такое у нее было ужасное лицо. Оно распухло, покрылось синюшно-желтыми переливами. А большие васильковые глаза исчезли, на их месте были узкие щели. Тося пыталась что-то сказать, набирала воздух, но не могла вымолвить ни одного слова. Я обняла ее, стала тихонько гладить по голове.

— Тосенька. Хорошая моя. Успокойся. Ну? Что случилось.

Кое-как, то замолкая, то начиная плакать, Тося рассказала, что нашего одноклассника Диму сегодня повесили на улице Пушкинской. Да, того самого Диму, Димку, который хотел подарить мне золотой медальончик, подобранный на развалинах города.

— Не может быть, — сказала я.

— Я тоже не поверила, — заикаясь, проговорила Тося. — Пошла посмотреть, дура. Там их три человека. Висят неподвижно. На груди картонка, написано «Саботажник». Люди говорят, их просто так, чтобы другие боялись.

Ночью я не могла уснуть. Только закрывала глаза, и передо мной возникал Дима.

— Я приготовил тебе медальон, смотри, — говорил он и тянул вверх цепочку, поднимая ее с ладони. А потом оказывалось, что это не цепочка, а веревка, затянута на шею Димки. И он висел на этой веревке, хрипел и задыхался.

Я быстро открывала глаза и таращилась в окно сарая. Видела черные ветки уксусного дерева, обведенные лунным светом.

С самого утра наши румынские квартиранты... Хотя, может, они уже хозяева? А квартиранты — это мы? В общем, с утра румыны затеяли праздник. Судя по всему, был день рождения у капрала Иона Греку. Он расхаживал по двору в белой рубашке, с бутылкой в руке и что-то мурлыкал себе под нос. Потом они вчетвером уселись за наш длинный стол под старой шелковицей, выставили еще бутылки, открыли консервные банки и начали праздновать. Они говорили, перебивая друг друга, потом стали петь свои румынские песни. Они так орали, что их было слышно на Кузнечной улице. Затем пошептались и послали красавчика сержанта Петрэ Мареша, чтобы тот пригласил Нонку.

Нонка вышла в крепдешиновой блузке с большим декольте. У Нонки было сдобное тело, а кожа такого цвета, как парное молоко. Тело не помещалось в блузке и выпирало наружу, как подошедшее тесто из макитры. Юбка солнце-клевш плотно облегла крутые Нонкины бедра, блестела и переливалась на солнце многочисленными складками.

Румыны зацокали языками и усадили Нонку в плетеное кресло.

А я ушла в свой сарай. Хотела обдумать, как быть с летчиком. Надо пригласить доктора Скуляри. Может быть, он подскажет, что делать, как лечить. Мне было противно от себя самой. Я взвалила на себя обузу, с которой не могу справиться.

Потом под руку попались открытки с портретами артистов. Я вспомнила, как мы с Евой менялись этими открытками, как она цеплялась за них, хотела забрать моих артистов и не желала отдавать своих. Я погрузилась в недавнее прошлое, такое легкое и прекрасное. Почему не ценила его, почему стремилась в Ленинград? Эх, сейчас бы вернуться туда, в май сорок первого. Я размечталась и потеряла счет времени.

На землю меня вернули крики, шум, ругань и плач мамы. А было вот что. Румыны перепились, им показалось, что на столе мало закуски. Решили забить нашу козу Капу. Ион и Петрэ схватили Капу за рога и пытались вытащить ее из сарая. А мама упала на козу и держала ее двумя руками. Папа стоял рядом и уговаривал маму:

— Лида, брось ты эту козу, а то получишь в лоб, как Виталик.

Я, недолго думая, бросилась на помощь, обхватила Капу за шею и повисла на ней.

Папа выскочил из сарая и стал кричать.

— Нонка! — крикнул он. — Нонна! Подойди сюда.

Нонка уже была подшофе, она встала и медленно пошла на голос папы. Она покачивалась из стороны в сторону, опиралась то на стену курятника, то на ствол уксусного дерева. Остановилась перед папой, вытерла ладонью жирные губы и спросила:

— В чем дело?

Папа вытянул обе руки в нашу сторону:

— Смотри, что делается!

Нонка смотрела долго. Потом набрала полную грудь воздуха и гаркнула своим хриплым, прокурренным голосом:

— Мамалыжники! Руки прочь от Капы!

Потом они начали драться. Нонка пинала румын ногами. Те стояли, согнувшись, тащили Капу за рога и тут же пытались лягнуть Нонку. Подбежали двое других румын, я никак не могу запомнить их имена, они оттащили Нонку, заодно поставили ей хороший фингал под глазом.

А папа шаркал ногами, крутился вокруг всей этой драки и ласково бормотал матерные словечки. Кулаки у папы были сжаты и весили по сто килограмм каждый. Я чувствовала, как ему хотелось размахнуться и врезать по любой румынской физиономии. Но он держал себя в узде. И только один раз не сдержался, стукнул по двери сарая и пробил ее насквозь.

Закончилось тем, что папа оторвал от козы маму и меня. Румыны праздновали победу и волокли Капу на угол двора. А Нонка хлопнула калиткой и помчалась вниз, к вокзалу.

Пока мы с мамой плакали, пока румыны точили ножи, вернулась Нонка.

Я не могу понять, она колдунья или отчаянная аферистка? Иногда мне кажется, что Нонка способна уговорить папу римского, чтобы тот совершил преступление, а черта сподобит на подвиг. В этот раз Нонка привела немецкого офицера.

— Николос, — представила она немца.

Высокий, подтянутый, в чистой форме, он стоял, слегка наклонив голову, и слушал Нонкину болтовню. Прищурился глазами, оценивал ситуацию в нашем дворе. Остается загадкой, как он вообще понимал Нонку, ведь она знала по-немецки две фразы: «Хенде хох» и «Гитлер капут». Ни одна из фраз сейчас не годилась.

Немец поднял руку и движением указательного пальца поманил капрала Иона Греку. Румын шел медленно, стараясь удержать равновесие. Из распахнутой рубашки выпирало круглое пузо. В левом кулаке он держал кухонный нож, а правый его кулак то сжимался, то разжимался, как будто Ион готовился сразиться с немцем.

Удар был настолько стремительный, что я не заметила ни замаха, ни самого удара. Зато хорошо видела, как Ион Греку корчился на земле и хватал воздух разинутым ртом.

Другие три румына оставили козу в покое и вытянулись перед немцем, как на параде.

Офицер повернулся к Нонке и сказал:

— Es ist mehr als Sie niemand wird nicht kränken, Madame. Ist über die Bekanntschaft froh.

Ну, в том смысле, что больше никто не обидит нашу мадам. И он рад знакомству с ней.

Нонка в знак благодарности приложила к груди ладони, принялась кланяться и повторяла:

— Хенде хох, хенде хох...

Когда он ушел, я спросила Нонку:

— Как ты разговариваешь с немцем? На каком языке?

Нонка икнула, вытащила из новенькой пачки немецкую сигарету, закурила и сказала:

— На языке любви.

Ближе к обеду к нам на слободку заехала немецкая машина. Она была очень большая и долго не могла повернуть с Охотской улицы на Зеленую. Улицы узкие, а поворот там крутой. Когда машина сдавала назад, то задела кузовом дом Михеевых. Бутовые камни повалились, и в стене получилась дырка. Теперь можно было войти в спальню к Михеевым прямо с Охотской. Машина наконец вырулила и осторожно поднялась к перепелиному базару. Остановилась напротив ворот камнедробилки.

Из кабины вышли два немецких солдата с автоматами. А из кузова стали прыгать на землю мужчины в полицейской форме.

Я в это время выносила помойное ведро и видела, как старший среди полицаев построил отряд, что-то произнес, а потом они разошлись в разные стороны небольшими группами. У машины остались только немцы. Старший с двумя помощниками поднялся по каменистой тропинке, которая вела прямо ко мне. Я уже собралась тикать

домой, но вдруг заметила, что полицейский командир машет мне рукой. Я внимательно присмотрелась и почувствовала, как по спине у меня начинают расплзаться колючие мурашки. Я узнала его. Это был Рудик, мой школьный тренер по плаванию.

— Ну, здравствуй, Женя Максимова, — сказал он, останавливаясь передо мной. — Вместо хлеба с солью встречаешь новую власть с пустым ведром? Плохая примета.

— Здравсьте, Рудольф Альбертович, — пролепетала я. — Вы за мной?

— Пока нет. Пришли поторопить ваших жидов. Ты живешь где-то здесь, верно?

Я кивнула.

— Тогда подскажи, где дом... — Рудик вытащил из нагрудного кармана бумажку и прочитал: — Дейнеко Наума Евсеевича.

— Так вон, рядом с нашим, — сказала я.

— Пальцем не показывай, — усмехнулся Рудик. — Веди.

Полиции не стали возиться с дверным замком, выбили ногой калитку и вошли в Евин дом. А я вернулась в наш сарай, села на родительскую кровать и задумалась. Но это так мне показалось, что задумалась, на самом деле в голове было пусто, а на сердце погано. И поговорить не с кем. Папа еще с утра ушел в заводскую контору, чтобы зарегистрироваться. А мама отправилась узнавать насчет хлебных карточек.

Но вскоре я услышала, как у нас во дворе раздался голос тети Миры.

— Лида! — кричала она. — Лида!

Я выглянула из сарая. Тетя Мира разводила руки в стороны и говорила, обращаясь к Рудику:

— Я нискоки не сомневаюсь, что моя девочка тут. У этом дому. Надо тока хорошенечко поискать.

— Поищем, — пообещал Рудик.

Он кивнул своим помощникам, и они принялись шнырять по всему дому, заглядывали в каждую щелочку. Разбудили Нонку во флигеле. Слазили в погреб. Приставили лестницу и забрались на чердак. Рудик приказал открыть саманную развалуху.

Летчик пребывал в забытти, лежал, приоткрыв рот.

— Это кто? — спросил Рудик.

— Александр Яковлевич, мамин брат. А мне — дядя. Он учитель математики.

— Что это с ним?

Я пожала плечами:

— Чем-то болеет. Не знаю. Сейчас врачей не найти.

— Где его документы? Показывай, — скомандовал Рудик.

Я почувствовала, как от страха у меня начинает крутить живот, и тихо вымолвила:

— Так это... Они в квартире остались. А там сейчас румынские военные.

Рудик внимательно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на летчика.

— Фу, вонь какая, — скривился он. — Максимова, ты бы вынесла своего дядю на помойку. А то сгниет тут заживо.

Потом Рудик надумал порыться в моих вещах. Мы зашли в сарай. А там валялись открытки с фотографиями артистами, которые я недавно перебирала. Рудик поднял первую попавшуюся и долго рассматривал ее.

— Красотка, — сказал он, любуясь фотографией Марины Ладыниной, потом перевернул открытку.

На обратной стороне химическим карандашом было нацарапано: «Ева Дейнеко».

— Та-ак, — обрадовался Рудик. — Значит, эта жидовка где-то здесь. Где ты ее прячешь, признавайся!

Я начала что-то мямлить, но вовремя сообразила, куда нужно повернуть разговор.

— Если вы про нашу соседку, — сказала я, — про Еву Дейнеко, так она и правда заходила. Но давно. До войны еще. Мы обменялись открытками. Но папа ее выставил. Он терпеть не может евреев.

— Хороший у тебя папа, — сказал Рудик. — Ты тоже ничего, — он опустил руку на мое плечо. — Ух! Не кожа, а персик. Нежная, душистая. С ума сойти... — его рука скользнула мне под мышку, и я почувствовала, как сильные пальцы сдавливают мою грудь.

Я сделала шаг назад и оттолкнула его руку:

— Не надо, прошу вас, Рудольф Альбертович.

Рудик улыбнулся противной улыбкой. Его губы стали похожими на рот змеи.

— Смотри, Максимова, — прошипел он, — будешь ломаться, окажешься в гестапо за укрывательство врагов рейха, — он провел пальцами по моему подбородку и добавил: — Жалко, если эта красота однажды превратится в кучу мусора.

Наступил вечер. Над городом еще тлели розовые облака, а за Петровой слободкой на черном небе уже зажглись первые звезды. Папа лежал в кровати, положив руки за голову. Он смотрел на замшелые балки нашего сарая, туда, где подрагивали бледные пятнышки света. Мама читала, склонившись над масляной коптилкой. Ей сообщили, что первого сентября откроют школу, вот она и готовилась.

А у меня на сегодня оставалось последнее дело — покормить летчика. Я налила в миску козьего молока, накрошила в него галет, которые удалось подобрать после румынской гулянки, и отправилась в саманную развалюху.

Керосиновая лампа потрескивала, не хотела разгораться. Я подкрутила фитиль и добавила света. Летчик был в сознании, он смотрел на меня тусклыми глазами, губы его шевелились, он хотел что-то сказать. Я подошла ближе и наклонилась над ним.

— Пистолет, — произнес летчик. — Документы.

— Александр Яковлевич, не переживайте, — сказала я. — Все в надежном месте.

Бретелька его майки сползла, и надо было ее поправить, но я боялась прикоснуться к летчику. Его грудь и плечи были покрыты гнойными волдырями. И шея была такая же. Думаю, на теле тоже были волдыри, только их не видно под майкой.

Когда я кормила летчика, то старалась держать ложку за самый кончик, чтобы случайно не задеть его щеку, на которой пузырилась сырая обожженная кожа.

Хорошо бы натаскать воды из колонки и искупать летчика или хотя бы протереть его мокрой тряпкой, но я не знала, смогу ли пересилить свою брезгливость.

Возможно, у Александра Яковлевича началось заражение крови. И тогда окажется прав этот мерзавец Рудик — летчик гниет заживо. Он уже наполовину мертвец.

Запах в развалюхе стоял ужасный. Мне казалось, еще чуть-чуть, и я упаду в обморок. Но все-таки докормила его. Пожелала спокойной ночи, погасила лампу и вышла на свежий воздух.

Долго стояла во дворе, дышала и не могла надышаться.

10

Я совершила большую глупость, пересказала Еве те слухи, которые ходили у нас на слободке, о судьбе евреев, собранных на стадионе.

Во-первых, это были всего лишь слухи. Что происходило на самом деле, знают только сами участники: немцы, полицаи и евреи. Зрителей туда не пускали. А, во-вторых, я как-то упустила, что Ева и сама еврейка, поэтому все будет примерять на себя.

А слухи были такие. На стадионе тогда собрали очень много людей. Евреи заняли все скамейки, стояли на беговых дорожках, на футбольном поле. Вокруг стадиона по-

наехало много машин, кругом стояла охрана. Часа три евреев держали под палящим солнцем, сортировали по каким-то признакам, потом собрали в группы. Одну группу посадили на грузовики и отправили в тюрьму. Другую группу заставили идти пешком в запретную зону, в район Мартыновой бухты, и там расстреляли. Женщин и детей запихали в крытые машины. Куда они уехали, никто не знает. А тех мужчин, которые остались, повезли на виноградники, где были выкопаны противотанковые рвы. Там уже находились евреи, что служили в Красной армии и попали в плен.

Золовка дяди Яши живет как раз в том районе со своим мужем. В тот день они слышала выстрелы и душераздирающие крики. Через несколько минут к ним зашел солдат и спросил молока. Они спросили:

— Зачем расстреливают пленных?

Солдат ответил:

— Иуда.

Я когда все это рассказывала, смотрела не на Еву, а в темные провалы сарматских комнат, так легче было представить картину случившегося. Потом я замолкла, но голову не повернула, а смотрела и смотрела в эту скалу, пока не услышала сдавленный хрип.

Ева, которая только что сидела на бабушкином пуфике, съехала с него на пол, одной рукой она цеплялась за трюмо и хрипела, выпучив глаза.

Я не сразу сообразила, что надо делать, заметалась, схватила Еву под мышки, потащила к кровати. Мелькнула мысль: может, у нее падучая. Но такого раньше не было, я бы знала. Наконец догадалась дать ей воды из бутылочки, что принесла с собой. Постепенно Ева успокоилась. Она лежала на кровати с закрытыми глазами, дышала ровно. Я подумала, что уснула. Но Ева неожиданно заговорила.

— За что нас так ненавидят? — спросила она. — Мне страшно. Они убьют меня, как только увидят.

— Они тебя не увидят. Сюда никто не придет.

— А если они останутся здесь надолго? На всю мою жизнь, — Ева открыла глаза и села в кровати. — Я не смогу всю жизнь провести здесь, — она обвела руками бабушкину спальню. — Женя, посмотри на меня. Я очень похожа на еврейку?

— Ты совсем не похожа на еврейку, — сказала я. — Ты такая, как все. Только очень красивая.

— Нет, похожа, — решительно заявила Ева. — Тетя Мира однажды сказала: деточка, ты наших кровей, у тебя на лице присутствует важный признак еврейства — родинки на подбородке, — Ева задрала голову и стала тыкать пальцем в свой подбородок, — вот смотри, раз, два, три. Они сразу догадаются, что перед ними еврейка. Женя, они убьют меня. Мне страшно, — она закрыла лицо руками и заплакала, причитая: — Мама, мамочка...

Я тогда с трудом успокоила Еву. Ну, мне так показалось, что успокоила. А теперь ругаю себя на чем свет стоит, зачем рассказала...

Сегодня пришла ее проведать, принесла кусочек кукурузного хлеба, чуточку дельфиньего жира и две жареные ставридки, небольшие, но очень вкусные. Зашла в бабушкину спальню, Евы нет. Заглянула в пристройку, где дрова складывали, в летнюю кухню — нету. Потом зашла в сарматские комнаты, вырубленные в скале. Она там. Сидит в самой дальней низенькой комнате. Сидит, скрючилась, ноги обхватила руками, голову уткнула в колени.

— Ева! — я стала ее тормошить, еле-еле вытащила.

А когда она подняла голову, я чуть сама не грохнулась в обморок. Половина лица у Евы была сизой, на щеке выступало голое мясо. Волосы на одной стороне головы исчезли, вместо них торчали какие-то лохмы и куцые клочки.

Оказывается, она решила избавиться от признаков еврейства. Зажгла свечку и принялась выжигать родинки. Ее длинные красивые волосы вспыхнули, загорелись. Вместо того чтоб накинуть на голову какую-то тряпку, Ева стала метаться по комнате и орать. Потом выбежала во двор и бегала там, как зажженный факел.

Я виновата: зачем рассказала ей про евреев? И эта вина будет висеть на мне до конца жизни.

Спустя час я собралась уходить. Ева уже была спокойной. Съела ставридку. Обняла меня на прощание. Посмотрела в потемневшее зеркало и сказала:

— Все равно буду артисткой. Только теперь буду играть Бабу Ягу.

11

Отступать мне теперь некуда. Вчера упростила доктора Скуляри, чтобы он пришел к нам и осмотрел летчика. На что я надеялась? А вот на что. Надежды было две. Одна приличная, а вторая гадкая. Начну с приличной.

Я надеялась, что доктор осмотрит летчика и обнадежит меня, скажет, что Александра Яковлевича можно поставить на ноги. Для этого нужно делать то-то и то-то. И каждое «то-то» будет мне по силам. Эта приличная надежда лежала у меня сверху, на видном месте.

А вторая надежда была гадкая. Она пряталась от посторонних глаз и даже укрывалась от меня самой, она притаилась где-то внутри и едва шевелилась, чтобышний раз не напоминать о себе. Даже произносить ее вслух и то противно. Эта вторая надежда такая — я втайне рассчитывала, что после осмотра летчика Михал Михалыч печально покачает головой и даст заключение: дни этого пациента сочтены, ему ничего не поможет, он не жилец на этом свете. То есть доктор подтвердит слова папы. Тогда обуза спадет с меня, я буду свободна. Не совсем, конечно. Придется слегка подкармливать Александра Яковлевича, пока он будет доживать последние дни. Зато мне не придется одолевать свою брезгливость, мыть и обихаживать вонючее тело летчика, добывать лекарства. Да и где их взять, эти лекарства?

Вот и получается, когда я спасала летчика, то ни о чем не думала, бросилась к самолету и вытащила его. А теперь до меня дошло: впереди ждут неприятные и нудные обязанности, которые противно исполнять. Теперь мне хочется поджать хвост и отползти в сторону.

К приходу доктора, я навела порядок в саманной развалюхе.

Летчик не спал и не бодрствовал. Мне показалось, что на него нашел какой-то морок. Один глаз у него залип, второй был слегка приоткрыт. Зрачок то смотрел в потолок, то медленно закатывался за веко. Видит он меня? Понимает ли, кто он такой, где находится?

Запах в развалюхе стоял невыносимый. Я открыла дверь нараспашку. Натаскала из колонки воды. У нас в сарае стоит цинковое корыто. Большое. Я сделала четыре ходки по два ведра и только наполовину заполнила корыто. Потом отскоблила всю грязь на полу, протерла стены мокрой тряпкой, вымыла окно. Но запах никуда не делся. Ведь стены были ни при чем, запах шел от летчика.

Тогда я треснула себя по башке и сказала:

— Сейчас ты помоешь его.

С тех пор как мы со Славкой Тарасовым сняли с летчика комбинезон, Александр Яковлевич оставался в майке и в синих семейных трусах до колен. Прошло уже вон сколько времени, трусы и майка пропитались гнойной сукровицей, прикипели к летчику. Теперь их снимать все равно что сдирать кожу.

Я обложила летчика мокрыми тряпками, чтобы его одежда раскисла, выдержала час и принялась снимать майку. Мне даже не понадобилось стаскивать ее через голову. Материя истлела и отрывалась лоскутами, как капустные листья. Волдыри на почерневшей коже лопались. Дух при этом шел просто ужасный. Я отворачивала лицо, задерживала дыхание, но продолжала отрывать лоскут за лоскутом. Кое-где вместе с тряпкой отрывалась и кожа. Наверное, летчику было больно, но он этого как будто не понимал.

С майкой было покончено. Надо приниматься за трусы. Я стояла перед летчиком, держала наготове приподнятые руки, но никак не могла решиться. Все-таки там, под трусами, не грудь и не живот, а кое-что другое. Я, конечно, не маленькая девочка, знала, что у мужчин там растет, но было как-то не по себе. Я немножко помялась, посмущалась, а потом сказала себе:

— Женья, ты сейчас не девица, которая пришла на первое свидание. Ты медицинская сестра. От тебя зависит жизнь летчика. Если ты сию минуту не сделаешь, что положено, он умрет.

Я раздела Александра Яковлевича догола. Протерла его мокрой тряпкой от головы до пяток. Перевернула на живот и обработала спину. Потом зашла к Нонке и выпросила у нее бутылку самогона. Нонка сначала не давала, а когда я объяснила, для чего нужен самогон, выставила бутылку и только сказала:

— Отработаешь как миленькая.

Я тщательно протерла самогоном все тело летчика. Даже те самые места протерла. Представила, что передо мной не взрослый мужчина, а маленький ребенок и я ухаживаю за ним, как мама. Александр Яковлевич пришел в себя. Когда самогон попал на открытые раны, он уже кривился и покряхтывал.

Я сбегала в сарай за вещами для летчика. Но папина одежда была огромной, в два раза больше, чем надо. Пришлось опять идти на поклон к Нонке.

Когда я вернулась в саманную развалюху с чистым бельем, с брюками и с красивой Виталькиной рубашкой, первое, что ощутила — это чистый воздух в комнате. Теперь здесь можно было дышать и не воротить нос.

Я смотрела на летчика и как будто только сейчас разглядела его настоящего. Он был невысокий, худой и такой, что ли, крепенький. Наверное, их там, в авиационной армии, заставляют много бегать и подтягиваться на турнике, ведь работа у летчика сидячая, а сила и выносливость очень нужны, чтобы провести воздушный бой на пределе человеческих возможностей. К такому выводу я пришла, когда увидела его мускулы и крепкие жилистые ноги.

И вдруг, совсем неожиданно, летчик сказал:

— Ты на меня смотришь, как мать на своего грудничка, которому пора менять пеленки.

— Да ну вас, Александр Яковлевич, испугали, — отмахнулась я.

А сама подумала: я ведь и правда его мама, дала ему вторую жизнь. Правда, сыночек у меня получился почти в два раза старше мамочки.

Доктор Скуляри сказал, что летчик должен пойти на поправку, но при одном условии — если не начнется заражение крови. Посоветовал больше давать пить и прикладывать мокрые простыни.

— Я теперь старший врач в новой амбулатории, — сказал Михал Михалыч. — Это рядом с водной станцией, где ты, Женья, ставила свои рекорды. Попробую раздобыть кое-какие лекарства для твоего подопечного.

— Спасибо.

— И еще. Приглашаю тебя на работу.

- Михал Михалыч, у меня же нет медицинского образования.
- Ничего. Достаточно будет моей рекомендации. А уколы и перевязки ты научилась делать в железнодорожной поликлинике.
- А кого будем лечить? — спросила я. — Немцев?
- Немцев нам не доверяют, — усмехнулся доктор. — Мы займемся местным населением. Ну, еще будут приводить наших пленных из лагерей.

Я рассказала доктору о том, что происходит с Евой.

- Она не понимает, почему убивают евреев, сходит с ума от страха, повредила лицо.
- Бедная девочка, — покачал головой доктор. — Пусть пока затаится и нос не высовывает. Я попробую помочь ей с документами. Поменяем ей графу «национальность», сделаем украинкой или русской. А тебя, Женя, жду завтра в амбулатории. Мне нужен надежный человек. Вот так нужен, — сказал Михал Михалыч и провел ладонью по горлу.

12

Тося Каблукова две недели уговаривала меня сходить в кинотеатр.

- Жень, — сказала она, — мы сто лет не были в кино. Хочешь, посмотрим наше, например, «Дети капитана Гранта». Но лучше немецкое — «Рай для холостяков». Я уже ходила, но посмотрю еще разок, с большим удовольствием. Там совсем другая жизнь, — уверяла Тося. — Женщины ходят в шикарных платьях по чистым улицам, садятся в красивые автомобили и едут ужинать в рестораны. Не рестораны, а настоящие дворцы. Не чета нашим столовкам.

Я объяснила ей, что мне теперь не до кино, что я целыми днями пропадаю на работе, потом сразу домой. Мама болеет. Про летчика я промолчала. Папа велел держать язык за зубами, да я и сама понимаю, не дурочка.

- Ты знаешь, — продолжала Тося, — там перед картиной показывают хронику. До чего же хорошо живет русским девушкам. Ну, тем, что в Германию уехали. Кто-то из них попал на фабрику. А на немецких фабриках все очень аккуратно устроено. На окнах цветочки, все девчата в одинаковых халатах. Сидят себе и шьют на машинках, которые надо крутить ногами. Это совсем нетрудно, можно целый день крутить и не устанешь. А потом все обедают в большой столовой. На первое дают суп. На второе две сосиски, вот такушие. Я даже запомнила, как они называются. Братвест. Ага, с тушеной капустой. И обязательно компот с печеньем, — Тося погладила себя по животу, наверное, представила, как хорошо бы сейчас съесть сосиску с тушеной капустой. — Но я бы хотела попасть к хозяевам на сельский хутор, — заявила Тося. — Там вольно. А что? С утра корову подоила, свиням корму задала и гуляй себе. У них такие поля, ухоженные, ровненькие. А лес! Ягоды, грибочки. А у нас одна степь.

- Тоська, — удивилась я, — ты что, собралась в Германию?
- Не могу я здесь жить. Страшно. И голодно. А мне надо хорошо питаться, я, видишь, какая крупная. Наверное, уеду.
- Тося, подумай о своих родителях.
- А им все равно. Папа говорит, катись на все четыре стороны.

В кино мы так и не сходили. Какое-то время я не видела свою подругу Каблукову. Решила зайти к ней домой, проведать. А Тосина мама протягивает почтовую открытку. Тося пишет из Германии, из города Ольденбурга. «...Мама, ты спрашиваешь, хожу ли я в кино? Нам тут не до кина. Много работаем, по 12–13 часов в день. Кормят три раза. Утром кофе, а на обед и на ужин дают суп из брюквы и 280 г хлеба. Я мно-

го думаю о своем поступке и через это хуюеу. Думы и мечты убивают в гроб. Приеду, вы меня не узнаете. Ваша дочь Тося».

13

Доктор Скуляри оказался прав: Александр Яковлевич пошел на поправку. Волдыри на теле почти сошли, а обгоревшая кожа на груди и на шее стала затягиваться тонкой корочкой.

Летчик уже самостоятельно вставал. Порывался идти в туалет, но сил пока не хватало. Да и доктор сказал, что рано еще. Для таких дел я поставила ведро. Прямо рядышком с кроватью. Александр Яковлевич очень стеснялся, но деваться ему было некуда.

А тут еще новая беда появилась. Летчик начал сильно кашлять. Он не простыл, не заразился, было такое впечатление, будто внутри у него что-то оторвалось и мешает дышать. Кашель начинался, когда он поворачивался на другой бок или пытался приподняться.

Сегодня к Нонке заявили гости. Немец Николос, тот самый, что спас нашу козу, и Антон Геннадиевич. Нонка потом объяснила, что этот русский коротышка с челкой и с усиками, как у Гитлера, работал большим начальником в городской управе. Следом за немецким офицером вошел солдат. Он был то ли чех, то ли венгр. Я их по форме пока не различаю. Наверное, денщик. Солдат нес перед собой коробку с продуктами. У Нонки с едой не разгуляешься. Она картофельные очистки не выбрасывает, так же как и мы.

Сначала во дворе было тихо. А потом разошлись. Нонка то и дело заливалась смехом, как будто ее щекотали. У Антона Геннадиевича был высокий пронзительный голос. С Нонкой он говорил на русском языке, с немцем на немецком. А немецкий офицер говорил мало, но отчетливо. Я услышала, как он сказал:

— Русская женщина — это не женщина, это пушка Дора.

Они вынесли во двор патефон и начали ставить пластинки. Наверное, танцевали. А пластинки крутили наши, русские. Ну, правильно, откуда другим взяться? Вот я услышала песенку: «Звать любовь не надо, явится неожиданно...» Это из картины «Моя любовь», где Лидия Смирнова играет.

А вот уже романс «В парке Чаир»:

В парке Чаир голубеют фиалки,
Снега белее черешен цветы.
Снится мне пламень весенний и жаркий.
Снится мне солнце, и море, и ты...

Если летчик начинал кашлять, я прикрывала его голову подушкой, чтоб не услышали во дворе. Прижимала подушку не сильно, а то еще задохнется. Александр Яковлевич не противился, он мягко обхватывал своими ладонями мои запястья, даже не обхватывал, а как будто обнимал их пальцами и прикасался так нежно, что я готова была сидеть с этой подушкой всю ночь.

Летчик рассказал о своей жизни. Перед самой войной он женился. Молодые сняли комнату в частном доме, рядом с аэродромом. Первые бомбы оказались роковыми: жена погибла. Может, поэтому он не просто воевал, он мстил за жену и за ребенка, которого она носила.

Когда немец Николос и Антон Геннадиевич ушли, в саманную развалюху заглянула Нонка. Она открыла дверь пинком ноги. В руках у нее были галеты и банка консервов.

— Здорово были, соколики, — сказала Нонка. Она была бухая, покачивалась и так улыбалась, что мне привиделось, будто рот у нее шире лица.

Банка оказалась почти полной, видать, открыли и попробовали из нее совсем немножко. На жестяном боку что-то было написано по-румынски. Консервы отличные. По-моему, там была мамалыга, которая пахла мясом.

— Очень вкусно, — сказал летчик.

Мы сидели с ним рядышком, на кровати, и зачерпывали мамалыгу ложками. По очереди. У Александра Яковлевича была большая ложка, у меня маленькая. Он предложил поменяться ложками, но я не согласилась. Все-таки он мужчина и должен питаться лучше меня.

Когда мамалыги осталось немножко, я спросила:

— Можно, я отнесу маме?

Летчик замер на мгновение, испуганно уставился на меня зелеными глазами. Потом треснул себя ложкой по лбу и сказал:

— Какой же я обормот! Женья, ты почему раньше не остановила меня?

Я отправилась с банкой в наш сарай. Мама лежала на кровати одетая, поверх одеяла. Рядом сидела Нонка и напевала мелодию: «В парке Чаир распускаются розы...»

Мама смотрела на Нонку и осуждающе крутила головой.

— Нонна, как ты можешь? С немцем. При живом муже.

— Какой муж? — удивилась пьяная Нонка. — Это лишняя мебель в спальне. Только мешает, а выбросить не могу. Не по-людски будет.

Я когда легла, долго не могла уснуть. Думала о нас и о Нонке. Конечно, Нонка поступает ужасно и подло. Фашисты нас убивают и морят голодом. А у Нонки праздник. Пьет и крутит любовь с палачом. Да, Нонка — это зло. Но зло полезное, думала я. Оно прикрывает летчика. Сюда никто лишний раз не сунется. И еще это зло дает пропитание летчику. Да и нам перепадает. А мы тогда — кто? Мы, которые присосались к этому злу? Мы его часть? Или нет?

И тут папа с кровати сонно пробормотал:

— Женья, что ты бурчишь себе под нос? Давай спи уже.

Я перевернулась на живот и стала считать баранов: один баран прошел, второй баран прошел... сто восемьдесят девятый баран прошел...

14

В последние дни мама возвращалась из школы усталая. Сразу ложилась на кровать и прикладывала на лоб влажную тряпку.

— Как я устала, — говорила она. — Никаких сил нет.

Мне казалось, она уставала не от школы, не от учеников. Она видела весь мрак, который окружал ее, и теряла силы. У папы и у меня все плохое выветривалось из головы, пока мы спали. А у мамы эта мерзость застревала, накапливалась и разрушала маму.

Папа о своей работе вообще не рассказывал, как будто ее не было. Вечером он садился на краешек кровати и гладил мамину руку.

Вот и сейчас сел, положил мамины пальцы на свою огромную ладонь и принялся тихонечко гладить.

— Шел сегодня по Корабельному спуску, — принялся рассказывать папа, — все камни убраны, дорога расчищена. Полоса, правда, узкая, но машина проедет. И ходить удобно. Нагнали наших ребят, пленных, таскают носилки с мусором. Гражданских тоже много. Одни метут, другие поливают из леек, чтобы пыль не поднималась столбом, — папа немножко помолчал, а потом сделал заключение о нынешней власти: — Сволочи, а порядок навели.

— Петя, — возмутилась мама и подскочила в кровати, — да ты, кажется, хвалишь немцев?

— Лежи, лежи, — папа вернул ее на подушки. — Ничего я не хвалю. Просто говорю, что навели порядок. Силой, а навели. Наши тоже хотели силой, да, видеть, нашу силу мы не боимся, потому что она своя, родная. А у немца чуть нарушил — к стенке. Без разговоров.

В дверь постучали, и в сарай вошел доктор Скуляри. Это папа его пригласил. Но перед тем, как говорить с папой, доктор по моей просьбе осмотрел летчика.

— Какой стремительный прогресс, — взволнованно произнес Михал Михалыч, ворочая мощными плечами. Он говорил быстро, слова наезжали друг на друга, и с непривычки его можно было не понять. — Я, признаться не ожидал, что ваш молодой человек, — доктор бросил взгляд на меня, — восстанет из пепла. На редкость крепкий организм. Плюс, конечно, молодость.

— Присаживайся, Михал Михалыч, — сказал папа.

Я уступила доктору свою табуретку, сама пристроилась на козлы, на которых пиялят дрова.

Папа вытащил из кармана брюк сложенную бумажку, раскрыл ее, повернулся к свету, падающему из окна, и стал что-то высматривать. Взгляд его скользил по строчкам сверху вниз.

— А, вот, — сказал наконец папа. — Слушайте внимательно. Это из приказа оберштурмбанфюрера СД, господина Фрика, — папа откашлялся и стал читать, делая ударение на отдельных словах: — Те лица, которые не являются местными жителями и без разрешения находятся в городе, и те ХОЗЯЕВА, которые без разрешения дали им квартиру, БУДУТ РАССТРЕЛЯНЫ...

— Ни одного лишнего слова, — подала голос мама.

— О то ж, — согласился папа. — Ох, ребята, ребята..., — вздохнул он. — Надо бы вашего летчика куда-то в другое место переложить.

— Куда, папа? — насторожилась я. — Пусть здесь. Здесь удобно.

— Удобно, — криво усмехнулся папа. — Немцы застукают, и все, капут. Расстреляют или повесят, как тех пацанов... Профукаете свою жизнь ни за понюшку табака. И свою жизнь, и нашу с матерью. Сейчас надо подчиняться их правилам. Даже если ты не согласный, делай вид, притворяйся. И терпи, терпи..., — папа скомкал бумажку и сжал ее в своем огромном кулаке. — А вы устроили, понимаешь, самодеятельность. Пользы от нее на две копейки, а риск — во! — папа поднял руку и провел ею над своей макушкой.

Мы сидели и молчали. Долго-долго. Было слышно, как муха жужжит и кидается на окно. Потом я два раза глубоко вздохнула и выпалила:

— Знаешь, папа, я завидую тебе. Ты такой сильный, выносливый. Ты можешь вытерпеть все издевательства фашистов. Причем молча. Сожмешь волю в кулак и будешь терпеть, ждать, пока придут наши. А я слабая. Я не могу ждать. Не могу терпеть. И поэтому буду противиться их законам, как сумею. Хотя бы на две копейки.

Папа поднял брови и сказал, обращаясь к доктору Скуляри:

— О, видал? Вся в меня.

Было часов десять вечера, когда Михал Михалыч засобирался уходить.

— Комендантский час, — спохватился папа. — Как же ты пойдешь, доктор?

— У меня есть разрешение, — сказал Михал Михалыч. — Женя, — обратился он ко мне, — проводи, пожалуйста, до калитки.

Во дворе уже было темно. Мы вышли на улицу. На небе висела половинка луны. Она была огромной и висела так низко, что казалось, будто касается земли в районе Куликова поля. Два мощных прожектора светили с вершины Исторического бульвара и направляли свои лучи на железную дорогу, выхватывая из темноты здание вокзала и перрон.

Михал Михалыч взял меня за руку.

— Женя, — сказал он, — вот документы для Евы Дейнеко. Свидетельство о рождении. Теперь она Елена Петровна Казанцева, русская. А вот разрешение на проживание в городе, по указанному адресу.

Я сначала не поняла, а когда дошло, бросилась на грудь доктора и от радости начала хлопать его кулачками по бокам.

— Михал Михалыч, — завизжала я тоненьким голосом, — миленький, золотой! Как вам удалось?

— Свет не без добрых людей, — сказал доктор. — Вот помогли.

— Так. Надо запомнить: Лена Казанцева, Лена Казанцева, — повторила я. — А где она будет жить? По какому адресу?

Доктор смутился, покашлял в кулак.

— У меня, — сказал он. И тут же добавил: — Если, конечно, захочет. Места много, дом пустой. А работать может у нас. В амбулатории. Должность мы ей придумаем.

15

На территории 16-й школы, где работала мама, немцы разместили свою военную часть. Там же устроили лагерь для наших пленных. А саму школу, куда с первого сентября ходили ребята, перенесли ниже на пару кварталов, в одноэтажное здание, похожее на казарму. Учащихся с первого по восьмой класс было немного. Кроме своей любимой географии, мама теперь вела арифметику, русский язык и литературу. Учились по советским учебникам, потому что других не было. Не запрещалось читать стихи о Ленине, но портрет Сталина следовало замазать чернилами. И еще заставляли перед началом основного урока, рассказывать о роли Гитлера, который пришел освободить русский народ от коммунистов.

После уроков, когда мама торопилась домой, путь ее пролегал как раз мимо 16-й школы, где был лагерь. Мама видела какой-то кусочек того, что там происходило, а вечером пересказывала нам.

Когда солнце садилось, мы зажигали в сарае керосиновую лампу. Ее тусклый свет не дотягивался до углов. Мне казалось, что за кучей хлама, из которого торчали ножки поломанных стульев, кто-то затаился. Мама лежала на кровати одетая, только без туфель. Смотрела на огонек лампы и начинала разговор:

— Ты знаешь, Петя, что я сегодня видела?

От этих ее слов папа втягивал голову в плечи и съеживался. Мне даже казалось, что его тень на стенке сарая делалась меньше в два раза.

— Что? — неуверенно спрашивал он.

— Слушай. Иду я мимо бывшей своей школы, вдоль загородки из колючей проволоки — говорила мама, — а там, за этой загородкой, четыре еврея тащат повозку с водой. Бак на повозке большущий, тяжелый. А мужчины совершенно изможденные, в грязной одежде с этими своими звездами Давида. Согнулись, бедняги, в три погипе-

ли, тянут повозку из последних сил. Один упал. А сосед говорит: Лева, вставай, иначе нам будет конец.

На следующий день мама рассказывала следующее:

— Наши ребята, которые сидят в том лагере, кидают записки. Наверное, рассчитывают, кто-то прочтает и поможет. Чтобы подальше кинуть записку, ее заворачивают в камушек, но все равно до колючей проволоки они не долетают. Земля уже покрылась бумажными комочками. А сегодня иду, вижу, один комочек перелетел за проволоку. Поднимаю, читаю: «Сообщите Гале, улица Кирова, дом 6, что ее Валик здесь. Господь в помощь». А у нас такой улицы нет.

Мама рассказывала все новые и новые ужасы. Она видела, как однажды утром заключенные выносили на самодельных носилках умерших товарищей. Сами ребята, что выносили, были истощены, едва переставляли ноги. Мертвых сбрасывали в глубокую воронку. Один парень, который держал носилки, споткнулся на самом краю воронки и упал. Охранник ногой толкнул его в воронку и велел засыпать вместе с мертвыми.

Мама чувствовала себя все хуже, и мы решили пригласить доктора Скуляри.

Михал Михалыч осмотрел маму, выслушал ее бронхи, сердце, простучал пальцами грудь. И даже температуру померил. Потом уселся на табуретку и задумался.

— Ну что? — спросил папа через некоторое время.

В ответ доктор пожал плечами.

— Михал Михалыч, ты же видишь, она тает на глазах, — сказал папа. — Сделай что-нибудь.

— Что?

— Откуда я знаю? Надо Лиду как-то лечить.

— Лечить? От чего? — спросил доктор.

— Как от чего? — возмутился папа. — От болезни.

— По медицинским показаниям она здорова, — сказал Михал Михалыч.

— Твою дивизию! — возмутился папа. — Как здорова? Да она умирает.

Доктор приложил палец к губам, показал, чтобы папа не орал на весь сарай. Потом они отошли в сторону. И я с ними.

— Она умирает от тоски, — прошептал Михал Михалыч. — От неумения жить в неволе. Ее душа так устроена, что не может принять того, что видят ее глаза и слышат ее уши.

— А что же нам делать? — спросила я.

Скуляри снова пожал плечами.

— Я не могу сделать прививку от мерзости, которая ее окружает, — сказал доктор. — Да и нет такой прививки, насколько мне известно.

— Михал Михалыч, — сказал папа, — мы тоже бултыхаемся в этой мерзости. Каждый день видим то же самое, что и Лида. Ну, конечно, мы расстраиваемся, переживаем. Но мы не умираем. Как-то переносим это.

— Повторяю, — сказал доктор. — Зрение разное. Мы с вами видим глазами, а она сердцем.

16

Сегодня Нонкин ухажер, капитан Николос, привел в наш дом своего товарища, тяжелого, неповоротливого немца. Губы этого верзилы излучали презрение, а глаза были прозрачные, как вода. В такие глаза невозможно смотреть, делается жутко, словно тебя занесло ночью на кладбище.

— Штурмшарфюрер Дитрих Ланге, — представил его Нонкин ухажер.

Они, видно, договорились раньше, и Нонка по этому случаю пригласила свою знакомую Олечку, чтобы та составила пару новому гостю. Меня Нонка попросила прислуживать у стола. Не высовываться, а стоять в сторонке и ждать, пока велют что-то подать или унести. Я согласилась, потому что Нонка обещала отдать часть продуктов и объедки, какие останутся после гулянки.

Мама, когда узнала, что я буду прислуживать немцам, возмутилась:

— Женя, как ты можешь? Где твоя гордость?

А я промолчала, не стала говорить, куда спрятала свою гордость. Главное, что получу продукты, которые нужны позарез для мамы и для моего летчика.

Но потом я все-таки пожалела, потому что спустя несколько минут после прихода немцев в наш двор объявился Антон Геннадиевич из городской управы. А с ним мой бывший тренер Рудик, Рудольф Альбертович, который теперь главный полицей.

Пир закатили во дворе, за нашим длинным столом. На почетном месте усадили здорового Дитриха Ланге. Он с трудом втиснул свой зад в папино плетеное кресло. Рядом с ним примостилась Олечка, маленькая и пугливая, как бабочка. По другую сторону от Ланге уже обнимались толстая Нонка и ее стройный ухажер Николос. А Рудольф Альбертович сидел в самом конце стола, как бы отдельно. Между ним и остальными гостями стояла длинная пустая скамейка.

Еще днем два солдата принесли аккумулятор от машины, провода и лампочку. Сейчас эта лампочка горела над столом. Солдаты приспособили лампочку на виноградной палатке, в глубине уже высохших листьев розового муската, поэтому свет не бил в глаза, а разливался мягко, как туман.

Вечер сгущался, на темном небе загорелись звезды.

Я стояла в сторонке, так что свет до меня почти не дотягивался. Слушала, о чем говорили за столом, но не очень внимательно. Немцы делали комплименты дамам. А Нонка и Олечка смеялись, как будто что-то понимали, и болтали всякую чушь. Слушать противно.

Дитрих Ланге сказал, что немецкие войска вышли на правый берег Волги и за это надо поднять тост. А человек из управы, Антон Геннадиевич, сказал по-немецки, что к этому тосту можно прибавить еще одну победу немецкого оружия: недавно взят город Нальчик.

— А это значит, господа, — сказал он по-немецки и поднял стакан, — это значит, что русская нефть не сегодня-завтра окажется в цистернах Третьего рейха.

— Trinken wir auf den Erfolg unseres Vorhabens! — выкрикнул штурмшарфюрер.

Ну, то есть предложил выпить за успех дела.

— Auf den Erfolg! — поддержал его Нонкин ухажер.

Нонка велела мне принести пирожки, которые она испекла из немецкой муки, на немецком смальце. Когда я вернулась, то услышала, как Нонкин ухажер делает выговор полицейу Рудольфу Альбертовичу. По-русски это звучало примерно так:

— Руди, — сказал немец, — ты переступаешь грань необходимой жестокости, которая требуется для поддержания порядка. Это порождает у русских неприязнь к нам, немцам.

При этих словах у меня промелькнула мысль, что немцы иногда разумно поступают, вот как сейчас, например, сдерживают распоясавшихся полицейев. Те и правда как с цепи сорвались, сажают невинных людей, издеваются над родителями красноармейцев, грабят, как бандиты с большой дороги. И делают это с удовольствием. И тут я услышала голос Рудольфа Альбертовича, переполненный злостью.

— Ненавижу! — просипел он. — Русские свиньи!

— Придержи свой гнев, Руди, — сказал Николос. — Иначе...

— Что иначе? — с вызовом спросил мой бывший тренер.

— Переведу тебя зрителем в лагерь, к этим оборванцам. Там можешь упражняться сколько угодно.

— Господин капитан, — по-немецки сказал Антон Геннадиевич, — стоит ли так разговаривать с нашим помощником при посторонних?

— Глупости, — отмахнулся немец. — Эти русские скоты ничего не понимают.

Нонка наполнила стаканы и стала подкладывать своему Николосу вареной картошки, пирожков и горку разогретых куриных консервов, над которыми поднимался ароматный пар.

— Женька, — крикнула она, — принеси тарелки, видишь, не хватает.

Я отправилась во флигель за тарелками. В прихожей у Нонки стоял полумрак. Дверь в комнату была распахнута настежь, и оттуда падал бледный свет. Я зашла в комнату. На подоконнике коптила потихонечку керосиновая лампа. На высокой кровати лежал Виталик. Его широко распахнутые глаза, не мигая, смотрели на потолок.

— Привет, — сказала я.

Виталик даже не моргнул. Я взяла из шкафа четыре тарелки и вернулась во двор. Хотела сразу подать тарелки, но увидела, что все оживленно разговаривают и закусывают. Нонка размахивала руками, обращаясь через стол к Олечке, советовала, чтобы та плотнее занялась штурмшарфюрером. Немцы беседовали между собой. Я решила подождать, остановилась в отдалении, прижала к животу тарелки и невольно вслушалась в немецкую речь.

Дитрих Ланге пересказывал капитану Николосу недавний случай.

— Мне сообщили, — начал он свой рассказ, — что у одной русской женщины есть маленькая дочь, еврейка по отцу. Отца мы уже оформили, — при этих словах немец приподнял руку и вытянул указательный палец, воображая, будто он стреляет из пистолета. — Я вызвал эту женщину, — продолжал штурмшарфюрер, — говорю ей, отдай дочь. Сама можешь быть свободна. Не отдает. Говорит, дочка не еврейка. Говорит, у евреев национальность определяют по матери. Мне стало интересно, где та черта, за которой старая крыса сломается и перестанет цепляться за своего крысенка. Стал угрожать ей арестом. Нет, слабая угроза, крысенка не отдает. Тогда я вывел их на пустырь. Взвел курок и направил пистолет в лоб старой крысе. Говорю, отдай крысенка, сама останешься живой.

— Хороший психологический опыт, Дитрих! — восхитился Нонкин ухажер. — Что дальше?

— Целюсь я в лоб старой крысе, — продолжал Дитрих Ланге, — и еще раз повторяю: отдай крысенка, тогда сама будешь жить. Иначе убью. Считаю до трех. Раз... Она молчит. Два... Она молчит. Три! Я разворачиваю пистолет и, не глядя, стреляю в крысенка.

Я вздрогнула и уронила тарелки.

— Женька! — крикнула Нонка. — Зараза безрукая. А ну убирай быстро!

А я не могла даже пошевелиться. Застыла на месте, словно превратилась в ледяную глыбу. Все у меня выключилось, только уши работали. И слушали.

— Оригинальное решение, — сказал капитан Николос. — И что старая крыса?

— Начала биться в истерике, рвать на себе платье, выдирать волосы, — слышала я голос Дитриха Ланге. — Наблюдать — одно удовольствие. Я бы смотрел до вечера, но... дела. Пришлось крысу прикончить.

— Мальчики, — услышала я капризный голос Нонки, — дамы хотят танцевать! Кто нас пригласит?

17

Александр Яковлевич предложил, чтоб мы перешли с ним на «ты» и чтобы я называла его Сашей.

— Как-то неудобно, — призналась я.

— Тебе сколько лет? — спросил он.

— Семнадцать... С половиной.

— А мне двадцать восемь, — сказал летчик. — Сейчас эта разница кажется большой, а когда мне стукнет девяносто пять, мы будем выглядеть как ровесники. Ну, давай говори: Са-ша.

— Саша.

— Умница.

В последние дни летчик заметно взбодрился, глаза его повесели. Я даже иногда любовалась их зеленым светом. Старалась делать это незаметно, а то еще начнет посмеиваться надо мной. Белая рубашка Виталика была для летчика велика, зато он выглядел в ней как артист.

Доктор Скуляри посоветовал собирать подорожник и толочь его в ступке. Потом эту кашицу прикладывать к обожженным местам на теле летчика, туда, где вместо кожи была тонкая корочка.

— Александр Яковлевич, приготовьтесь к процедурам, — сказала я.

— Женья, — летчик покачал головой, — мы же договорились на «ты».

— Хорошо, — я вздохнула поглубже и выпалила: — Саша, снимай рубашку и немедленно в койку. А то ремня получишь.

Он обрадовался, начал расстегивать пуговицы. А я подумала: ведь и правда, относись к нему, как к ребенку. Даже обратила внимание, что у меня начали формироваться материнские чувства. Ну, еще бы, я ведь мыла летчика, протирала ему попу, убирала за ним всякие безобразия, меняла пеленки, вернее, простыни. Я ухаживала за ним, как за своим сыночком. Нет ничего удивительного в том, что меня стали терзать переживания молодой мамы: здоров ли мой мальчик, накормлен, не болит ли у него животик?

Как-то я спросила, какой у него рост. Оказалось, летчик ниже меня на целых четыре сантиметра. Совсем маленький, прямо хоть бери на ручки и нянчи.

Летчик лежал на кровати, а я зачерпывала рукой зеленую кашицу из ступки и наносила ее на Сашину грудь, на шею, на плечи. Осторожно расправляла подорожник подушечками пальцев, стараясь не прикасаться к хрупкой корочке.

— Тебе не больно? — спросила я.

— Так бы и лежал всю жизнь, — сказал летчик. Он сладко потянулся, а потом грустно заметил: — Очень жалко, что придется уходить.

— Саша, ты куда собрался? — насторожилась я.

— Война. Ты не забыла, Женья? Война. Мне надо как-то пробираться к своим.

— Как пробираться, Саша? Тебе за калитку выйти нельзя, сразу поймают и все, конец.

Мы еще долго говорили с ним. Я не могла представить, что летчик вдруг уйдет, исчезнет из моей жизни навсегда. Как же так? Это мой ребенок, я дала ему жизнь, выпестовала его, как сказала бы мама. Нет, это невозможно. Я стала убеждать, что его не примут в летчики по здоровью.

— Ничего, — сказал Саша. — Буду стрелять из винтовки. Или ползать на пузе с проводами и налаживать связь. Я должен что-то делать там, на фронте. Там, понимаешь? А не здесь... лежать и блаженствовать от твоих прикосновений.

— Тебе не нравятся мои прикосновения?
— Женя, — сказал летчик, — вот ради них, ради твоих прикосновений, мне и нужно туда, на фронт. Чтобы потом вернуться и блаженствовать с тобой до девяноста пяти лет. И не бояться выйти за калитку.

Славку Тарасова я не видела уже давным-давно. Думала, куда он запропастился? Решила, что воюет в Красной армии. А потом встретила его отца, и тот сообщил, что сына в армию не записали, сказали — молодой еще. Где он сейчас, отец не знает. И вот сегодня мы встретились. Славка заскочил к родителям. А потом не удержался и заглянул ко мне. Я обрадовалась.

Оказывается, за нашим комсоргом приходили молодчики из зондеркоманды. Они рыскали по всему городу и хватали оставшихся руководителей, коммунистов и комсомольцев. Славка вовремя спрятался у своих родичей в окрестной деревеньке. И вот сейчас забежал домой за теплыми вещами — он готовился уйти к партизанам.

— Как наш летчик? — спросил Славка. — Живой?

— Пойдем, — сказала я и повела его в саманную развалюху.

Наверное, я допустила оплошность — оставила их один на один, а сама вышла во двор. Не торопясь, стала развешивать выстиранные простыни. Затем подперла веревку длинной палкой с гвоздем. А когда вернулась, поняла, что мужчины уже обо всем сговорились: Славка уходит к партизанам и забирает с собой летчика. Забирает моего маленького сыночка Сашу. Я сначала криво улыбалась, как слабопомешанная, а потом слетела с катушек, начала орать на Сашу, швырять вещи, какие только под руку попадались. Выскочила из комнаты. Славка за мной.

— Женя, ты что, влюбилась в летчика? — спросил он.

Я пожала плечами.

— Ничего не влюбилась.

— Женька, ну, ты зараза, — начал закипать Славка. — Ты на кого повелась? Да он тебя поматросит и бросит. А потом побежит домой, к своей жене.

— К какой жене? — удивилась я. — С чего ты решил, что у него есть жена?

— По глазам вижу, — сказал Славка, — у него в каждом глазу написано вот такими плакатными буквами: я женат, у меня двое детей.

— А почему я не вижу этих плакатов?

— Потому, — сказал Славка, — что влюбленный человек слеп и глух.

Я не могла удержаться и решила поехидничать.

— Слава, — сказала я, — если он меня бросит, ты подберешь?

Славка надулся, как индюк, опустил голову. Потом пробурчал еле слышно:

— Подберу.

На следующий день у нас в амбулатории был сумасшедший дом. Люди шли и шли. Потом еще привезли полную машину наших ребят из лагеря. Доктор Скуляри работал не разгибаясь, и нам с Евой не позволял сделать перерыв. А мне очень хотелось поговорить с Евой о своих чувствах к летчику. Пора уже разобраться, любовь ли это? В том смысле, любовь ли это мужчины и женщины? Или это привязанность матери к своему детенышу?

Но у нас не было минутки свободного времени, чтобы уединиться. Когда ушел последний пациент, Михал Михалыч посмотрел на часы и сказал:

— Все, девочки, уже комендантский час. Я домой. А у вас разрешений нет. Придется вам ночевать на рабочем месте.

Ева устроилась на столе, который считался у нас операционным, а я составила стулья вдоль стенки и положила под голову пакет с перевязочным материалом.

Мы болтали полночи. Ева слушала, переспрашивала, спорила со мной, но вывод сделала неприятный.

— Женька, — сказала она, — не морочь мне голову. Твой Саша не трехлетний малыш. Он молодой мужчина, который давно не прикасался к женщине. Угадай с трех раз, что он хочет от тебя?.. То-то. Заканчивай эту игру в дочки-матери, вернее, в сыночки-матери. И будь с ним осторожна.

— Дура, — сказала я и отвернулась к стенке.

Лежала и думала, почему когда тебе говорят правду, ее воспринимать в десять раз обиднее, чем какую-нибудь напраслину?

Домой я вернулась только к вечеру следующего дня.

Саша стоял у окна развалюхи и выглядывал во двор.

— Тебя не было целые сутки, — сказал он с обидой.

— Не могла, Сашенька. Поздно закончили работу. Уже начался комендантский час.

— Не могла, — повторил он. — Значит, я вычеркиваю вчерашний день из своей жизни.

Он сморщил лицо, и я испугалась, что сейчас заплачет. Тут же забыла совет, который дала мне Ева, обняла летчика двумя руками за голову и нежно прижала к себе. Еще подумала: жалко, что у меня нет молока, а то дала бы ему грудь, успокоила сыночка.

18

У меня в голове все перепуталось. Сама ведь упрашивала доктора Скуляри, чтоб он помог сделать документы для Саши. Хотя нет, не сама, конечно. Сначала Саша меня убедил, привел тысячу причин, почему он должен покинуть уютное гнездышко, нашу саманную развалюху, и попытаться выйти к своим, ну, то есть к нашим. Он сказал, что лучше было бы пробраться за линию фронта, а потом в действующую часть. Но, если не получится на фронт, то хотя бы к партизанам и сражаться в тылу врага. Тем более что Славка Тарасов уверял, он знает дорогу в партизанский лес. А уже потом, после Сашиних уговоров, я стала просить доктора. Михал Михалыч сначала отказал. Объяснил, чтобы раздобыть такие бумаги, нужно подвергнуть смертельной опасности сразу несколько человек. Но я пристала, как муха к липучке, и буквально вымолила у него согласие.

И вот сегодня доктор пришел к нам и принес аусвайс для Саши. Две серые бумажки с печатями и подписями. Одна бумажка — это временное удостоверение личности. Вторая — разрешение на поездку в ближние татарские села для ведения коммерческой деятельности. Проще говоря, для обмена разного барахла на продукты.

Саша обрадовался, пожал руку Михал Михалычу и сказал:

— Доктор, вы волшебник.

— Скорее, фокусник, — сказал доктор Скуляри. — Зато вы, молодой человек, авантюрист. Вам нужно еще полежать месяц-другой, пока восстановится кожный покров. Учтите, там, — доктор поднял руку и несколько раз взмахнул кистью, как будто хотел отправить наше воображение в партизанские леса, — там нет лекарств, нет продуктов, никто за вами ухаживать не будет, как Женя. Да и погода. Посмотрите, что делается. Дождитесь лета, тепла.

— Да пусть идет, — сказал папа. — Красная армия станет сильнее на одного калеку.

Он произнес это таким странным тоном, что я и Михал Михалыч одновременно обернулись и посмотрели на папу, чтобы уточнить — он радуется, что летчик уйдет или сожалеет?

— Скатертью дорожка, — с обидой добавил папа. — Плохо ему здесь.

И вот теперь, когда доктор выполнил мою просьбу и принес необходимые бумаги, в моей голове произошла какая-то встряска, мозги поехали набекрень. Вместо благодарности я надулась от злости и возненавидела бедного Михал Михалыча. Мне вдруг представилось, что доктор совершил самую подлую подлость, он изловчился и ударил меня по самому больному месту. Этот злодей просчитал все заранее и теперь намеренно лишает меня самого дорогого. Он забирает моего маленького, единственного мальчика, моего Сашеньку. Может, на время забирает. А может, навсегда.

Я взяла две серые бумажки и стала смотреть на них, но ничего не могла разобрать. Глаза мои кипели от злости, а руки чесались и готовы были разорвать эти бумаги в клочья. Не знаю, как сдержалась.

Я швырнула справки на кровать, на которой сидел Саша, и выбежала во двор.

На другой день, когда я была в амбулатории, к нам во двор юркнул Славка Тарасов. Саша ждал его. Прежде чем уйти, они попрощались с мамой. Потом на минуту заглянули к Нонке. Та приготовила для них большой узел теплых вещей, а Саше вручила модное пальто Виталика из английского драпа с каракулевым воротником.

Для меня Саша оставил записку: «Я вернусь».

После ухода летчика у меня внутри образовалась пустота. Как будто душу вынули. Я, конечно, не знаю, где находится у человека душа, но раньше у меня в том месте, если считать от головы до желудка, помещалась такая штука, с помощью которой я радовалась и печалилась. А сейчас там было пусто. Нет, я, конечно, не превратилась в соломенное пугало, которое будет гореть и даже не покривится. Но исчезло главное... э-э... Как бы это сказать? Главное сокровище моей жизни — летчик Саша.

Я решила помалкивать о своих чувствах и переживаниях, но меня словно за язык кто-то тянул. Пришла в амбулаторию и первым делом начала жаловаться Еве.

— Я не могу жить без него, — сказала я.

— Ну, прямо, не можешь, — возразила Ева. — Ты же ходишь на работу, что-то делаешь. Вон шприцы кипятить.

— Это не я.

— А кто?

— Не знаю, — сказала я. — Какая-то незнакомая девушка. Без сердца.

Ева подошла ко мне вплотную, взяла обеими руками за плечи и крепко встряхнула.

— Женька, — сказала она, — ну-ка подними голову. Посмотри на меня.

Я посмотрела и увидела большое серое пятно, оно покрывало половину Евиного лица. Кожа этого пятна напоминала пергамент, это такая прозрачная бумага, папа раньше приносил с работы. От натяжения этого пергамента изменилась форма правого глаза, он казался выпуклым и круглым. Теперь вся Евина красота оказалась испорченной, смотреть было неприятно. Я отвела глаза, боялась, что в моих зрачках отразится неприязнь и жалость, и Ева увидит их.

— Страшно смотреть? — спросила Ева.

— Ничего не страшно, — соврала я. И тут же обняла Еву, прижала к себе и почувствовала, как слезы потекли по ее щекам. А у меня в горле защемило от горечи и рас-

каiania: — Милая моя девочка, — прошептала я, — ты самая красивая, самая лучшая из всех, кого я знаю. Все у тебя будет хорошо, как ты мечтаешь.

— Вот смотри, — сказала Ева, — перед тобой стоит живой человек. А тогда мне казалось, что жизнь кончилась. Пыхх! — она вскинула руки, и я тут же представила, как пламя трепещет над Евиной головой. — И в одно мгновение я превратилась в уродиху, в жуткую ведьму, — Ева провела ладонью по шраму на лице. — Кому я нужна такая? Да еще эти гады могли в любое время схватить меня и убить. А мне и жить не хотелось. Думала, пусть убивают, только чтоб не было больно....

— Не вспоминай об этом, — попросила я.

— Прошло какое-то время, — продолжала Ева, — и я увидела, что ты заботишься обо мне. Увидела, как Михал Михалыч помогает. Получается, я нужна вам, даже такая жуткая. Правда?

— Конечно, нужна, — сказала я.

— Ну вот, значит, буду жить. Что-то полезное делать, — Ева опустила на корточки, открыла брезентовую сумку, которую принес доктор Скуляри, и принялась вынимать из нее пузырьки с лекарствами и расставлять их на полки. — И ты, Женька, запомни: кроме Саши, у тебя есть мы. Мы тебя любим, ты нужна нам.

— Проклятая война, — сказала я. — Все, о чем мечтали, коту под хвост.

— Угу, — грустно согласилась Ева. Но тут же она вскинулась, поднялась в рост и заговорила веселым голосом: — Ты знаешь, Женька, иногда мне снится, будто я по-прежнему красива, что у меня гордый профиль и молодой дерзкий взгляд. Я смотрю с экрана в темный зал, и у зрителей мурашки бегут по спине... — она вздохнула и добавила: — Потом я просыпаюсь и плачу.

— Моя хорошая, — сказала я, обнимая Еву. — Больше не буду приставать со своими чувствами. Обещаю.

Ну, действительно, зачем я лезу? Сейчас у моих родных и близких столько тягот и страданий, что они едва справляются с ними. Мне бы облегчить их жизнь, а я, наоборот, добавляю своего горя. Все, решила я, дома закрою рот на замок, и никакого нытья.

Вечером я поговорила с папой о том, что у нашего доктора поломался приемник, который он прятал на работе, и теперь мы не можем следить за положением дел на фронте.

— У вас там напряжение скачет, — сказал папа. — Пусть Михал Михалыч включит приемник, посмотрит, какая лампа не горит, и запишет марку. Я попробую достать.

Потом я под села к маме на кровать и стала читать ей вслух рассказ «Кавказский пленник» про моего любимого Жилина и противного Костылина. После второй страницы мне показалось, что мама уснула. Я закрыла книгу и от нечего делать принялась ходить по сараю туда-сюда. Ходила и думала о Саше. Ну, и немножечко о Славке. Представила, как они пробираются по черному холодному лесу. Где устроились спать? Неужели прямо на земле? Уже холодно, даже Виталькино пальто с каракулевым воротником не поможет.

И вдруг я услышала голос мамы. Она, оказывается, не спала и сейчас говорила, обращаясь к папе.

— Летчик ушел из нашего дома, — сказала мама. — Вроде можно вздохнуть с облегчением. Наконец мы ничего не нарушаем, не за что нас расстреливать. А Женя ходит сама не своя. Натывается на стулья, как слепая. Петя, мне страшно за нее. Уж лучше бы этот летчик лежал в развалюхе, а мы по-прежнему дрожали от страха.

Я даже замерла от таких слов. Стояла как вкопанная и ждала, что ответит папа. Но папа начал говорить о другом.

— Лида, хочу тебе одну вещь сообщить, — сказал папа, потом обернулся ко мне и добавил: — Женя, ты тоже послушай. Иду я сегодня утром на работу и вижу: на воротах

дровяного склада, того, что внизу, за камнедробилкой, висит листочек. Такой обыкновенный листок, как будто из школьной тетрадки вырванный. И на нем чернилами от руки написано... — папа замолчал, выглянул за дверь сарая, убедился, что во дворе никого нет, и снова плотно затворил дверь.

— Что написано, папа? — спросила я.

— В точности не перескажу, но пока читал, чуть в штаны не наложил от страха. Призыв написан. Вставайте на борьбу с врагом. Враг, дескать, получил смертельную рану от ударов Красной армии, и теперь его надо добить. Пока он тут, в тылу, не зализал свою рану.

— Господи, кто написал такое? — удивилась мама.

— Папа, а как добивать, если у нас винтовок нет? — спросила я.

— А с нас какой спрос? — сказал папа. — Мы свою норму выполнили, двух бойцов отправили на войну. Славку и твоего летчика. Теперь главное — не высовываться. Загайтесь и ждите, — папа сцепил ладони перед грудью и похрустел пальцами. А потом восхищенно произнес: — Это ж надо, какие отважные люди! Между прочим, женской рукой написано.

На следующий день погода была отвратительная. Холодно, как на полярной станции у Папанина. Да еще пронзительный ветер гнал и гнал снег по земле. Под самую дверь амбулатории намело высокий сугроб. Пришлось чистить лопатой несколько раз, иначе не выйдешь. Домой еле добралась.

Папа перетащил кровать почти вплотную к буржуйке. Да что толку. В сарае стоял ледник. Мы уже натянули на себя все кофты, закутались в шали, в платки.

— Я бы еще костер развел, — сказал папа, — вон сколько хлама. Да боюсь, сгорим, к чертям свинячим. Женя, ты бы сходила, посмотрела, может, в саманной развалюхе теплее. На ночь туда переберемся, а?

Я уже собралась было идти, как в дверь постучали. Вошел доктор Скуляри. Я как только посмотрела на него, сразу поняла, случилось что-то необычное. И хорошее. Потому что доктора распирала изнутри какая-то радость, было видно, что он сдерживал эту радость изо всех сил, чтобы успеть поздороваться и спросить, как здоровье мамы.

— А, это ты, Михал Михалыч, — сказал папа. Он сидел на корточках перед буржуйкой и засовывал в топку сухие ветки акации. — Какая нелегкая тебя принесла?

Доктор подышал на руки, чтоб их согреть, вытащил из внутреннего кармана пальто какую-то бумажку.

— Вот, — сказал он, разворачивая бумажку.

— Что это? — спросил папа и посмотрел наконец на Михал Михалыча. — Ну-ка, ну-ка, — вдруг заволновался папа и взял бумажку из рук доктора. — Слушай, тот же почерк, — удивленно произнес он.

Папа начал молча читать эту бумажку, повернув страницу к тусклому свету керосиновой лампы. По мере того как читал, он все сильнее сжимал губы и удивленно качал головой. Потом выкрикнул:

— Лида! Лида! Ты только послушай, — папа подошел к верстаку, на котором я сплю, расправил на одеяле бумажный лист и принялся читать вслух: — Сообщение Совинформбюро. Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломали сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие.

Я посмотрела на доктора. Грузный Михал Михалыч стоял, широко расставив ноги, и улыбался счастливо, как именинник, которому вручают подарок.

Папа продолжал читать:

— Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск.

Некоторое время мы молчали. Я боялась пошевелиться. Я замерла, прислонившись к старой деревянной лестнице, и слушала, как пустое место, где недавно была душа, наполняется радостью и счастьем.

— Спасибо тебе, Господи, — тихо произнесла мама.

— Это надо отметить, — сказал папа. — Женя, пойдём к Нонке. Будем клянчить самогон.

— Что гуляем? — спросила сонная Нонка, когда папа попросил занять чекушку.

— Сталинград, — сказал папа. — Полная победа наших войск.

— Да ты что? — обрадовалась Нонка. — Так им и надо. Сволочи! Только у меня ничего не осталось, все выпили. Вы идите, я что-нибудь соберу закусить.

Мы вернулись в сарай, папа только плечами пожал — пусто. Но вскоре пришла Нонка, принесла тубик сыра и банку итальянских консервов. Выставила на стол узенькие красивые бокалы:

— Вот пригодились для такого случая, — сказала она и вынула из сумки бутылку козьего молока.

Папа разлил молоко нашей Капы по бокалам, а Михал Михалыч произнес тост. Он волновался, говорил долго, путался.

Папа остановил доктора и сказал:

— Поднимем стаканы за нашу победу. Ура, товарищи!

Мы выпили и стали закусывать вкусными консервами. Я выдавила на ладонь немного сыра и стала лизать его языком, как лисичка. Никто мне не сделал замечания, настроение у всех было веселое, спать совсем не хотелось.

Потом мама спросила:

— Нонна, а как же ты? Наверное, уедешь с немцами?

— Прямо там, — огрызнулась Нонка. — Пусть меня лучше прибьют наши. Я отсюда ни ногой.

— Эх, гулять так гулять, — сказал папа. — Михал Михалыч, наливай по второй.

19

У нас в гостиной висит календарь, но мы листочки не отрываем, а подсовываем их под резинку, чтобы в конце года календарь остался целым. Так уж повелось. Этих календарей собралось штук десять, валяются на шифоньере, пылятся. Хотела их выбросить, но папа ни в какую. Говорит:

— Не позволю ломать порядок, который установила мама.

Вчера ходила на мамину могилку, повыдергивала пырей и заменила фотографию на памятнике. Старая совсем выцвела. Пошел уже третий год, как мамы нет с нами, а сердце по-прежнему щемит. И папу жалко, он состарился, стал беспомощным, как малое дитя, хотя сил ему не занимать.

Сегодня 22 июня 1946 года. День моего рождения — двадцать один год уже.

Я вот смотрю на календарь и думаю: это ж надо такому случиться, чтобы день рождения совпал с самым черным днем в году, с началом ужасной войны. Я даже ходила

в загс, просила переписать дату своего рождения. Отказали. Пошутили, что им легче изменить дату начала войны.

Да, время летит, все меняется. Уже начали отстраивать наш город.

Недавно поднималась от железнодорожного вокзала на Центральный холм. Пришлось идти по самому краю тротуара, над обрывом, это был даже не тротуар, а узенькая тропинка, двоим не разойтись. А вот основную дорогу разворотили, навезли песку и бульжников. Эти бульжники укладывают на дорогу пленные румыны. Румын много, растянулись цепочкой по всему спуску. Одни таскают носилки с камнями, другие равняют песок лопатами, а третьи стоят на коленках и укладывают бульжники. Стучат по ним резиновыми молотками.

Иду, и вдруг меня окликают:

— Женья!

Думала, показалось. А потом вижу, навстречу мне шагает парень с худым, осунувшимся лицом.

— Вы меня не узнаете, Женья? — спрашивает он.

— Петрэ? — ну, конечно, я узнала его, сержант Петрэ Мареш, наш квартирант.

Мы немного поговорили. Я спросила, когда их отпустят домой. Он, наверное, не понял, достал из-за пазухи письмо и стал показывать фотографию — пожилая женщина прижимала к груди курицу и улыбалась.

— Мама? — спросила я.

— Мама, мама, — закивал он.

Высокий мужчина, похоже, их начальник, прокричал что-то на румынском языке.

— Мне пора, — сказал Петрэ.

Я достала из сумки кулек с халвой и сунула ему.

Мареш прижал кулек к груди, поклонился и начал пятиться. Может, специально так шел, чтоб начальник не увидел кулек.

Да, двадцать один год... Много это или мало? Мой Саша говорит:

— Это отправная веха, с которой начинается путь во взрослую жизнь.

Ну, что ж, если это начало, то выходит — у меня все впереди.

Саша теперь большой начальник, заведует карточным бюро города. У него персональный автомобиль «виллис», это который без крыши. Даже прикрепили водителя, но Саша любит ездить сам. И одеваться ему приходится в соответствии с положением. Каждый день свежая рубашка, галстук, купленный на «хитром» рынке, и американские туфли на каучуковой подошве. Сегодня с утра Саша отвозил на служебной машине Нонку в Симферополь к профессору Петраковскому. У Нонки определили менингит и сказали, что здесь не будут лечить эту продажную тварь, которая сотрудничала с немцами. Вот Саша и договорился с профессором. Я уговорила мужа надеть военную форму для солидности, ведь встречают по одежке. Прицепила ему на новенький китель два ордена Красной Звезды и медаль «За отвагу».

Сейчас я стою в комнате, которую мы оборудовали под детскую. Перечитываю письмо от сестры. Надька пишет корявым почерком, сообщает, что они с бабушкой благодарят нас за подарки. Пятый класс она окончила на четыре-пять. Город Свердловск им нравится, но бабушка скучает по Севастополю. И, может, они приедут на каникулы.

Я распахиваю окно во двор. Вижу наш старый запущенный сад, огромную шелковицу, ее ветви разрослись вширь и свисают до земли, как длинные волосы сказочной девы. Под шелковицей стоит кровать, на кровати, на высоких подушках, лежит Виталик. А рядом — наш стол, да, тот самый, знаменитый. И плетеное кресло, похожее на

царский трон. Оно еще живое, это кресло, правда, очень подозрительно скрипит, когда папа опускается в него. Вот и сейчас папа восседает на своем троне, во главе стола. По левую руку от него на длинной скамейке устроился Саша. Справа от папы развалился на стуле Михал Михалыч Скуляри. В последнее время он похудел, стал заметно стройнее, даже рубашку может застегнуть на верхнюю пуговицу. Рядом с доктором сидит его жена Ева Дейнеко, вернее, уже Скуляри. Она выглядит счастливой и время от времени кладет ладони на живот, как будто проверяет, как там поживает маленький Скуляри, который вот-вот должен появиться на свет.

У Саши на руках вертится наш сын Петька, ему год и два месяца. Парень только-только начал ходить. Саша опускает малыша на траву, держит за ручки, и Петенька быстро перебирает ножками. Хочется ему бегать.

Я вижу, как мужчины о чем-то шепчутся. Папа оборачивается в мою сторону, но не видит меня за тюлевой занавеской. Он быстро наполняет стопки.

Вот вредные мальчишки, не могут дождаться, пока именинница снимет бигуди и припудрит носик.

Мужчины чокаются, и Михал Михалыч что-то говорит, наверное, произносит тост. Папа, прежде чем выпить, поднимает левой рукой еще одну стопку и подносит ее Виталику, лежащему на высоких подушках. Надо же, тот хорошо понимает, что ему предстоит делать. Виталик открывает рот, и папа ловко вливает ему водку. Тут же подносит огурец. И Виталик жует его, не меняя выражения лица. Ну, мужики!

— Женя, ты скоро? — это Тося Каблукова заглядывает в детскую. В руках у нее наполеон, испеченный по мамину рецепту.

В прошлом году Тося вернулась из Германии. Пришла к себе домой и давай стучать в калитку. А родители не пускают, боятся, что советская власть накажет их за дочь-беглянку.

— А куда мне податься, папа? — спросила Тося.

— Катись куда глаза глядят, немецкая подстилка, — ответил Каблуков-папа. — Хоть к черту на кулички.

Хорошо, Нонка по своим старым связям пристроила Каблукову на овощебазу. Полгода Тося перебирала гнилую картошку и мерзлый бурак, а потом совершила карьерный скачок: стала начальником второго отделения Плодоовощторга. После высокого назначения Тося сделалась дотошной и пунктуальной. Вот, например, собралась написать для меня поздравление на красивой открытке. И нет бы, как все: желаю, мол, здоровья и счастья. Нет, Тося решила выяснить, чего я желаю больше всего на свете. Подходит она ко мне и спрашивает:

— Женя, о чем ты мечтаешь?

Я только плечами пожала. Стыдно было признаться, что мечта у меня скромная и легко выполнимая: дойти наконец до Черного моря, нырнуть с высокого пирса и плыть кролем, покуда хватит дыхания.